

М. Фуко

«Слова и вещи»

Москва.: Прогресс, 1977

Книга рассказывает о том, как возник образ (!) современного человека, того самого homo sapiens, к которому мы относим себя, совершенно не задумываясь об этом. Процесс этот закончился во время великой французской революции, когда с помощью языка, экономических и социально-политических отношений возникло то самое классическое понимание антропоморфности, которым мы пользовались до недавнего времени.

Разрушение этого классического понятия началось с наступлением массового общества и развитием массовых коммуникаций, в том числе и потому, что новости стали доступны людям в режиме реального времени. Теперь процесс этот уже не остановить. Книга Мишеля Фуко заканчивается словами, ставшими с некоторого времени расхожими:

«Как знать, - пишет Фуко, - может быть, со временем само понятие «человек» исчезнет так, как человеческие следы исчезают на прибрежном песке».

(С) Дмитрий Бавильский (11/06/03)

<http://www.topos.ru/cgi-bin/article.pl?id=1262&printed=1>

ОБМЕНИВАТЬ

1. АНАЛИЗ БОГАТСТВ

Классическая эпоха не ведает ни жизни, ни науки о жизни, ни филологии. Существуют только естественная история и всеобщая грамматика. Точно так же нет и политической экономии, потому что в системе знания производство не существует. Зато в XVII и в XVIII веках было одно, все еще знакомое нам понятие, хотя в наши дни оно и утратило свое главное значение. Правда, в данном случае говорить о «понятии» было бы неуместно, поскольку оно не фигурирует в системе экономических концептов, которая под его воздействием стала бы несколько иной, ибо это понятие лишило бы эти концепты толики их смысла, покусилось бы на какую-то часть их сферы. Уместнее, пожалуй, было бы, следовательно, говорить не о понятии, а о некоей общей области, о весьма однородном и хорошо расчлененном слое, включающем и охватывающем в качестве частичных объектов понятия стоимости, цены, торговли, обращения, ренты, выгоды. Эта область, почва и объект «экономии» классической эпохи, есть сфера богатства. В рамках этой сферы бесполезно ставить вопросы, возникшие в экономике другого типа, например

организованной вокруг производства или труба; в равной мере бесполезно анализировать ее различные концепты (даже и особенно, если их имя впоследствии сохранилось вместе с какой-то аналогией смысла), не учитывая систему, в которой они черпают свою позитивность. Это все равно, что намереваться анализировать линнеевский род вне области естественной истории или теорию времен у Бохе, не учитывая того, что всеобщая грамматика была историческим условием ее возможности.

Следовательно, нужно избегать ретроспективного прочтения, которое только придало бы классическому анализу богатств позднейшее единство политической экономии, делавшей тогда свои первые шаги. Тем не менее историки идей привыкли таким образом реконструировать загадочное возникновение того знания, которое в западноевропейском мышлении будто бы возникло во всеоружии и встретилось с трудностями уже в эпоху Рикардо и Ж. Б. Сэя. Они считают, что научная экономия долгое время была невозможной из-за чисто моральной проблематики прибыли и ренты (теория справедливой цены, оправдание или осуждение выгоды), а затем из-за систематического смещения денег и богатства, стоимости и рыночной цены: за это смещение будто бы главную ответственность нес меркантилизм в качестве его яркого проявления. Но мало-помалу XVIII век якобы признал существенные различия между ними и очертил несколько больших проблем, которые политическая экономия не переставала впоследствии трактовать на основе более развитого аппарата; так, монетарная система раскрыла свой условный, хотя и не произвольный характер (в ходе длительной дискуссии между металлистами и антиметаллистами: к первым нужно было бы отнести Чайльда, Петти, Локка, Кантильона, Галиани, а ко вторым - Барбона, Буагильбера и особенно Лоу, затем, после катастрофы 1720 года <Имеется в виду афера Лоу. - Прим. ред.>, в менее явной форме Монтескье и Мелона); затем благодаря Кантильону теория меновой цены мало-помалу отделилась от теории внутренней стоимости; определился великий «парадокс стоимости», когда бесполезной дороговизне бриллианта была противопоставлена дешевизна воды, без которой мы не можем прожить (действительно, точную формулировку этой проблемы можно найти у Галиани); затем, предвосхищая Джевонса и Менджера, начались попытки связать стоимость с общей теорией полезности (намеченной Галиани, Гралэном, Тюрго); была принята важность высоких цен для развития торговли («принцип Бехера», воспринятый во Франции Буагильбером и Кенэ); наконец с появлением физиократов - начат анализ механизма производства. И вот фрагментарно, постепенно политическая экономия незаметно оформила свою проблематику, и тут настал момент, когда вновь, но в ином свете, обратившись к анализу производства, Адам Смит Выяснил процесс усиливающегося разделения труда, Риккардо

- роль капитала, а Ж. Б. Сэй - некоторые из основных законов рыночной экономики. Начиная с этого момента политическая экономия якобы уже существовала, обладая своим собственным объектом и внутренней связанностью. В действительности же понятия денег, цены, стоимости, обращения, рынка в XVII и XVIII веках рассматривались не в свете еще неясного будущего, а на почве строгой всеобщей эпистемологической диспозиции, на которую с необходимостью опирался в целом «анализ богатства», являющийся для политической экономии тем же, чем всеобщая грамматика для филологии и естественная история для биологии. И как нельзя понять теорию глагола и существительного, анализ языка действия, анализ корней и их деривации без их соотнесения через всеобщую грамматику с археологической сеткой, делающей эти анализы возможными и необходимыми, как нельзя понять, что такое описание, признак и классическая таксономия, как и противоположность между системой и методом или «фиксизмом» и «эволюцией» без вычленения сферы естественной истории, точно так же нельзя найти необходимую связь, соединяющую анализ денег, цен, стоимости, обмена, если не выяснить этой сферы богатств, являющейся методом их одновременного существования.

Несомненно, анализ богатств возник иными путями и развивался иными темпами, чем всеобщая грамматика или естественная история. Дело в том, что размышление о деньгах, торговле и обменах связано с практикой и с институтами. Однако если можно противопоставлять практику чистой спекуляции, то и одно и другой во всяком случае покоятся на одном и том же фундаментальном знании. Денежная реформа, банковское дело и торговля могут, конечно, принимать более рациональный вид, развиваться, сохраняться и исчезать согласно присущим им формам. Они всегда основывались на определенном, но смутном знании, которое не обнаруживается для себя самого в рассуждении; однако его императивы - в точности те же, что и у абстрактных теорий или спекуляций, явно не связанных с действительностью. В культуре в данный момент всегда имеется лишь одна эпистема, определяющая условия возможности любого знания, проявляется ли оно в теории или незримо присутствует в практике. Денежная реформа, проведенная Генеральными Штатами в 1575 году, меркантилистские мероприятия или афера Лоу и ее крах обладают той же самой археологической основой, что и теории Давандзатти, Бутру, Пегги или Кантильона. Эти коренные императивы знания и должны быть разъяснены.

2. ДЕНЬГИ И ЦЕНА

В XVI веке экономическая мысль почти целиком занята проблемами цен и вещественной природой денег. Вопрос о ценах затрагивает абсолютный или относительный характер вздорожания продуктов питания и того воздействия, которое могут иметь на цены последовательные девальвации или приток американского золота. Проблема вещественной природы денег - это проблема природы эталона, соотношения цен между различными используемыми металлами, расхождения между весом монет и их номинальной стоимостью. Однако эти два ряда проблем были связаны, так как металл обнаруживался как знак, именно как знак, измеряющий богатства, ввиду того что он сам был богатством. Если он мог означать, то это потому, что он был реальным знаком. И подобно тому как слова обладали той же реальностью, как и то, что они высказывали, подобно тому как приметы живых существ были записаны на их телах подобно видимым и положительным признакам, точно так же и знаки, указывающие на богатства и их измеряющие, должны были носить в самих себе их реальный признак. Чтобы иметь возможность выражать цену, нужно было, чтобы они были драгоценными. Нужно было, чтобы они были редкими, полезными, желанными. И нужно было также, чтобы все эти качества были стабильными, чтобы знак, который они навязывали, был настоящей подписью, повсеместно разборчивой. Отсюда проистекает эта связь между проблемой и цен и природой денег, составляющая суть любого рассуждения о богатствах, от Коперника и до Божена и Давандзатти.

В материальной реальности денег смешиваются обе их функции: общей меры для товаров и заместителя в механизме обмена. Мера является стабильной, признанной всеми, универсально применяемой, если она в качестве эталона имеет конкретную действительность, сопоставимую со всем многообразием вещей, требующих измерения: таковы, говорит Коперник, туаза и буасо <Старинные монеты длины и сыпучих тел. - Прим. перев.>, материальные длина и объем которых служат единицей <F C o p e r n i c. Discours sur la frappe des monnaies (цит. по: J.-Y. L e B r a n c h u. Ecrits notables sur la monnaie. Paris, 1934, I, p. 15.>. Следовательно, деньги поистине измеряют лишь тогда, когда денежная единица представляет какую-то реальность, которая реально существует и с которой можно соотносить любой товар. В этом смысле XVI столетие возвращается к теории, принятой по крайней мере в какой-то период средневековья и дающей или государю или же народному волеизъявлению право фиксировать *valor impositus* денег, изменять их курс, выводить из обращения часть денежных знаков или, при желании, любой металл. Необходимо, чтобы стоимость денежной единицы определялась той массой металлов, которую она содержит, то есть чтобы она вернулась к тому, чем она была прежде, когда государи еще не печатали ни своих изображений, ни своих печатей на

кусках металла; когда «ни медь, ни золото, ни серебро не были деньгами, оцениваясь лишь на все» <F A n o n y m e. Compendieux ou bref examen de quelques plaintes (цит. по: J.-Y. L e B r a n s h u, op. cit., II, p. 117.>, когда деньги были верной мерой постольку, поскольку они не означали ничего другого, кроме своей способности быть эталоном для богатства, исходя из их собственной материальной реальности богатства.

На такой эпистемологической основе в XVI веке были осуществлены реформы, и их обсуждение приняло соответствующий размах. Денежными знаками хотят вернуть их точность меры: нужно, чтобы номинальная стоимость, обозначенная на монетах, соответствовала количеству металла, выбранного в качестве эталона и находящегося в них; тогда деньги не будут означать ничего иного, кроме своей измеренной стоимости. В этом смысле анонимный автор «Компендия» требует, чтобы «все в настоящее время находящиеся в обращении деньги не были бы больше таковыми начиная с определенной даты», так как «превышения» номинальной стоимости издавна изменили измерительные функции денег; нужно, чтобы уже обращающиеся денежные знаки принимались лишь «согласно оценке содержащегося в них металла»; что же касается новых денег: то они будут иметь в качестве их номинальной стоимости их собственный вес: «начиная с этого момента обращаться будут только новые и старые деньги, наделенные соответственно только одной стоимостью, одним весом, одним номиналом, и таким образом деньги вновь возвратятся к своему прежнему курсу и прежней добротности» <FId., ibid., p. 155.>. Неизвестно, повлиял ли текст «Компендия», который до 1581 года оставался неизданным, хотя и наверняка существовал и циркулировал в рукописной форме лет за тридцать до этого, на финансовую политику в царствование Елизаветы. Хорошо известно, что после ряда «превышений» (девальваций) между 1544 и 1559 годами мартовское постановление 1561 года «снижает» номинальную стоимость денег и сводит ее к количеству содержащегося в них металла. Также во Франции Генеральные Штаты в 1575 году требуют и добиваются отмены расчетных единиц, которые вводили третье, чисто арифметическое, определение денег, присоединяя его к определению через вес и через номинальную стоимость: это дополнительное отношение скрывало от тех, кто плохо в этом разбирался, смысл финансовых спекуляций. Эдикт от сентября 1577 года устанавливает золотое экю как монету, обладающую реальной стоимостью, и как расчетную единицу; определяет подчинение золоту всех других металлов, в частности серебра, сохраняющего произвольную ценность, но теряющего свою правовую непреложность. Так деньгам возвращается эталонное значение, соответствующее весу содержащегося в них металла. Знак, носимый на них - *valor impositus* - лишь точное и прозрачное указание утверждаемой ими меры.

Но в то же время, когда ощущались, а иногда и удовлетворялась потребность в этом возврате, выявился ряд явлений, присущих денежному знаку и, может быть, окончательно компрометирующих его роль меры. Прежде всего то, что деньги циркулируют тем быстрее, чем они менее ценны, в то время как монеты с большим содержанием металла скрываются и не участвуют в торговле; этот закон, сформулированный Грэхэмом<G r e s h a m. Avis de Sir Th. Gresham (цит. по: J.-Y. L e B r a n s h u, Op. cit., II, p. 7, 11.>, был известен уже Копернику<C o p e r n i c. Discours sur la frappe des monnaies, loc. cit., I, p. 12.> и автору “Компендия”<Compendieux, loc. cit., II, p. 156.>. Затем, и в особенности, отношение между денежными знаками и движением цен: дело в том, что деньги появились как товар среди других товаров - не как абсолютный эталон всех эквивалентностей, а как товар, меновая способность которого и, следовательно, меновая стоимость в обменах изменяются в соответствии с его распространенностью и редкостью: деньги также имеют свою цену. Мальтруа<M a l e s t r o i t. Le Paradoxe sur le fait des monnaies. Paris, 1566.> подчеркивал, что, невзирая на видимость, роста цен в течение XVI века не было: поскольку товары всегда являлись тем, что они суть, а деньги в соответствии с их собственной природой образуют устойчивый эталон, то вздорожание продуктов питания вызывается лишь ростом совокупной номинальной стоимости, присущей одной и той же массе металла: но за одно и то же количество зерна всегда дают один и тот же вес золота и серебра. Таким образом, «ничто не вздорожало»: так как при Филиппе VI золотое эку стоило в расчетной монете двадцать турецких солей, а теперь - пятьдесят, то совершенно необходимо, чтобы один локоть бархата, раньше стоивший четыре ливра, стоил бы сегодня десять. «Вздорожание всех вещей проистекает не от того, что больше отдают за них, но от того, что получают меньшее чистого золота и серебра, чем привыкли получать раньше». Однако, исходя из этого отождествления роли денег с массой циркулирующего металла, понятно, что они подвержены тем же самым изменениям, что и все прочие товары. И если Мальтруа неявно признавал, что количество и товарная стоимость металлов оставались стабильными, то Бодэн<B o d i n. La Reponse aux paradoxes de M. de Malestroit, 1568.> немногим позже констатирует увеличение металлической массы, импортируемой из Нового Света и, следовательно, реальное вздорожание товаров, поскольку государи, обладая слитками или получая их во все большем количестве, чеканили больше монет и более высокой пробы; за один и тот же товар дают, следовательно, количество металла, обладающее большей ценностью. Рост цен имеет, таким образом, своей «главной и почти единственной причиной то, чего никто до сего времени не касался»: это - «изобилие золота и серебра», «изобилие того, что определяет оценку и цену вещей».

Эталон эквивалентностей сам включен в систему обменов, причем покупательная способность денег означает лишь товарную стоимость металла. Знак, различающий деньги, определяющий их, делающий их достоверными и приемлемыми для всех, является, таким образом, обратимым, и его модно понимать в двух смыслах: он отсылает к количеству металла, являющемуся постоянной мерой (так его расшифровывает Мальтруа); но он отсылает также к тем разнообразным по количеству и ценам товарам, каковыми являются металлы (интерпретация Бодена). Здесь имеется отношение, аналогичное тому, которое характеризует общий распорядок знаков в XVI веке; как мы помним, знаки конституировались благодаря сходствам, которые в свою очередь, для того, чтобы быть признанными, нуждались в знаках. Здесь же денежный знак может определить свою стоимость в ряду других товаров. Если предполагается, что в системе потребностей обмен соответствует подобию в системе познания, то очевидно, что в эпоху Возрождения одна и та же конфигурация эпистемы контролировала знание о природе и рассуждения или практику, относящиеся к деньгам. Как отношение микрокосма к макрокосму было необходимым, чтобы приостановить бесконечные колебания между сходством и знаком, так нужно было установить определенное отношение между металлом и товаром, которое в конце концов позволило бы зафиксировать всеобщую товарную стоимость драгоценных металлов и, следовательно, определенным образом установить эталон цен для всех товаров. Это отношение было установлено самим провидением, когда оно погрузило в землю золотые и серебряные руды, заставив их медленно расти, подобно тому как на земле растут растения и приумножаются животные. Между всеми вещами, которые для человека необходимы и желательны, и сверкающими рудными жилами, скрытыми в толще земли, где в тиши растут металлы, имеется абсолютное соответствие. «Природа, - говорит Давандзатти, - сделала благими все земные вещи; их сумма на основании заключенного между людьми соглашения стоит всего добываемого золота; все люди желают, таким образом, приобрести все вещи... Для того чтобы каждый день подтверждать правило и математические пропорции, которыми вещи обладают относительно друг друга и золота, нужно было бы с небес или из какой-нибудь очень высокой обсерватории созерцать существующие и изготавливаемые на земле вещи или, лучше, их образы, отраженные и воспроизводимые на небе, как в верном зеркале. Тогда мы бы оставили все наши расчеты и сказали бы: на земле имеется столько-то золота, столько-то вещей, людей, потребностей; в той мере, в какой каждая вещь удовлетворяет потребности, ее стоимость будет эквивалентна такому-то количеству вещей или золота» <D a v a n z a t t i. Lecon sur les monnaies (цит. по J.-Y. B r a n c h u. Op. cit., p. 230 -231).>. Этот небесный и исчерпывающий подсчет мог бы сделать только бог: он

соответствует тому другому подсчету, который с каждым элементом микрокосма соотносит элемент макрокосма - с тем лишь различием, что этот подсчет соединяет землю с ее пещерами и с ее рудниками: он приводит в соответствие вещи, рождающиеся в руках человека, и скрытые с сотворения мира сокровища. Приметы подобия, поскольку они направляют познание, обращаются к совершенству неба: знаки обмена, поскольку они удовлетворяют желания, опираются на черное, опасное и проклятое мерцание металла. Это мерцание двумысленно, ибо оно представляет в глубине земли того, кто поет на исходе ночи: оно коренится в ней, как нарушенное обещание счастья, и поскольку металл похож на светила, постольку знание всех этих гибельных сокровищ является в то же время знанием мира. Так размышления о богатствах приводят к великой космогонической схеме, подобно тому как глубокое познание мирового порядка должно, напротив, привести к познанию тайны металлов и обладанию богатствами. Мы видим, какой компактной сетью необходимостей связываются в XVI веке составные части знания; видим, как космология знаков в конце концов дублирует и обосновывает рассуждения о ценах и деньгах, как она позволяет развивать теоретическую и практическую спекуляцию с металлами, как она соединяет обещания желаний и обещания познания, таким же образом перекликаются и сближаются между собой в тайном сродстве металлы и звезды. На границах знания, там, где оно предстает как почти божественное всемогущество, соединяются вместе три великих функции - функции Басилевса, Философа и Металлурга. Но как это знание дано лишь фрагментарно и лишь в чутком озарении прорицания, так и божественное знание или то знание, которого можно достичь «с некоторой высокой обсерватории» и которое касается особых и частичных отношений вещей и металлов, желаний и цен, не дано человеку. Редко и как бы случайно это знание дается умам, умеющим выжидать, то есть купцам. То, что в бесконечной игре сходств и знаков принадлежало прорицателям, то же самое принадлежит купцам во всегда открытой игре обменов и денег. «Находясь внизу, мы с трудом открываем немногие из окружающих нас вещей, давая цену согласно нужде, испытываемой в каждом месте и в каждое время. Купцы же в этом деле являются искушенными людьми, и поэтому они превосходно знают цену вещам» <D a v a n z a t t i. Lecon sur les monnaies, p. 231).>.

3. МЕРКАНТИЛИЗМ

Для того чтобы область богатств оформилась в классическом мышлении как объект рефлексии, нужно было освободиться от конфигурации знаний, установленной в XVI столетии. У «экономистов» эпохи Возрождения, вплоть до самого Давандзатти, свойство

денег измерять товары и их способность к обмену основывались на присущей им самим по себе ценности: было хорошо известно, что драгоценные металлы мало использовались вне монетного дела; но если они избирались в качестве эталонов, если они использовались в обмене и если, следовательно, они достигали высокой цены, то это потому, что в порядке природы и сами по себе они обладали абсолютной, основополагающей, более высокой, чем все остальные, ценой, с которой можно было соотносить стоимость каждого товара<Ср. сделанное еще в начале XVII века утверждение Антуана де ла Пьера: «По существу, стоимость золотых и серебряных денег основана на том драгоценном веществе, которое они содержат» (De la necessite du pesement).>. Благородный металл был сам по себе знаком богатства; его затаенный блеск явно указывал, что он был одновременно скрытым присутствием и видимой подписью всех богатств мира. Именно по этой причине он имел цену; также поэтому он измерял все цены; наконец, поэтому его можно было обменивать на все имевшее цену. Он был драгоценностью как таковой. В XVII столетии все эти три свойства всегда приписывались деньгам, но все они имели своим основанием не первое свойство (наличие цены), а последнее (замещение всего имеющего цену). В то время как эпоха Возрождения основывала обе функции (мера и заместитель) металла для чеканки денег на удвоении его существенного признака (того, что он является драгоценным металлом), XVII век смещает анализ; именно меновая функция служит основанием двух других признаков (способности измерять и способности получать цену, проявляя в таком случае как бы качества, вытекающие из этой функции). Этот переворот является результатом той совокупности размышлений и практических действий, которые осуществляются на протяжении всего XVII века (от Сципиона де Граммона до Никола Барбона); эту совокупность определяют немного приблизительно термином «меркантилизм». Вошло в привычку характеризовать его как абсолютный «монетаризм», то есть как систематическое (или упорное) смешение богатств и металлических денег. Эта характеристика является поспешной. Действительно, «меркантилизм» устанавливает между ними не более или менее неясное тождество, а продуманное сочленение, делающее из денег инструмент представления и анализа богатств, а из богатств - содержание, представленное деньгами. Подобно тому как распалась старая кругообразная конфигурация подобий и примет, чтобы развернуться согласно двум соотносительным плоскостям представления и знаков, точно так же круг «драгоценного» разворачивается в эпоху меркантилизма; богатства раскрываются как объекты потребностей и желаний; они разделяются и заменяют одни другими благодаря игре означающих их денежных знаков; и между деньгами и богатством устанавливается взаимосвязь в форме обращения и обменов. И если можно было уверовать в то, что меркантилизм смешивал богатство и

деньги, то это, несомненно, потому, что для него деньги обладают способностью представлять любое возможное богатство, что деньги для него являются универсальным инструментом анализа и представления, что деньги охватывают без остатка всю сферу его действия. Любое богатство предстает как обратимое в деньги; и именно поэтому оно вступает в обращение. В соответствии с таким подходом можно сказать, что любое природное существо является характеризуемым, а поэтому оно может войти в таксономию; любая особь является именуемой, а поэтому она может войти в членораздельную речь; любое представление является означающим, а поэтому оно может войти, чтобы быть познанным, в систему тождеств и различий.

Однако это требует более внимательного рассмотрения. Какие вещи среди всех существующих в мире вещей меркантилизм будет иметь возможность называть «богатствами»? Все те вещи, которые, будучи представимыми, являются к тому же объектами желания, то есть те, которые к тому же отмечены «необходимостью или пользой, удовольствием или редкостью» <S c i p i o n d e G r a m m o n. Le Denier royal, traite curieux de l'or et de l'argent. Paris, 1620, p. 48.>. Но можно ли сказать, что металлы, служащие для изготовления монет (речь здесь идет не о биллоне<Биллон - разменная неполноценная монета. - Прим. ред.>, служащем лишь в качестве дополнительного денежного средства в некоторых местностях, но о металлических деньгах, используемых во внешней торговле), составляют часть богатств? Золото и серебро обладают лишь весьма небольшой полезностью - «постольку, поскольку они могли бы быть использованы в быту»; и как бы они ни были редки, их изобилие все еще превышает их количество, требуемое для такого использования. Если же их разыскивают, если люди считают, что их им всегда не хватает, если они роют шахты и развязывают войны ради их приобретения, то это потому, что изготовление из них золотых и серебряных монет придало им полезность и редкость, какими эти металлы сами по себе не обладают. «Деньги заимствуют {170} свою ценность не у вещества, из которого они состоят, но лишь у формы: являющейся образом или знаком Государя» <Id., ibid., p. 13 -14.>. Золото потому является драгоценным, что оно служит деньгами, но не наоборот. Отношение, прочно зафиксированное в XVI в., перевертывается: деньги (вплоть до металла, из которого они изготовлены) получают свою ценность благодаря чистой функции знака. Это влечет за собой, без соотнесения с деньгами, согласно критериям полезности, удовольствия или редкости, то есть вещи обретают стоимость благодаря их взаимным отношениям; металл лишь позволяет представить эту стоимость, как имя существительное представляет собой образ или идею, но не образует их: «золото - это только знак и привычное средство выявления стоимости вещей; но истинная оценка одной имеет своим источником

суждение человека и ту способность, которую называют оценочной» <S c i p i o n d e G r a m m o n. Le Denier royal, traite curieux de l'or et de l'argent. Paris, 1620, p. 46 -47.>. Богатства являются богатствами потому, что мы их оцениваем, как наши идеи есть то, что они есть, потому, что мы их себе представляем. Сюда же, кроме того, добавляются денежные или словесные знаки. Но почему золото и серебро, которые сами по себе едва ли являются богатствами, получили или завоевали эту означающую способность? Можно было бы, конечно, использовать для этого другой товар, «каким бы презренным и ничтожным он ни был» <Id., ibid., p. 14.>. Медь, которая во многих странах сохраняет свою дешевизну, становится у некоторых народов драгоценной лишь постольку, поскольку ее превращают в деньги <S c h r o e d e r. Furstliche Schatz Rentkammer, S. 111. M o n t a n a r i. Della moneta, p. 35.>. Но, как правило, используют золото и серебро, скрывающие в себе «свое собственное совершенство», связанное не с их ценой, а с их неограниченной способностью представлять. Они тверды, нетленны, неизменны; они могут делиться на мельчайшие части; они могут сосредоточивать большой вес при небольшом объеме; они могут легко транспортироваться; их легко обрабатывать. Все это делает из золота и серебра привилегированное средство, чтобы представлять все другие богатства и производить посредством анализа их строгое сравнение между собой. Так оказывается определенным отношение денег к богатствам. Отношение произвольное, так как цену вещам придает не действительная стоимость металла: любой объект, даже лишенный цены, может служить деньгами; но необходимо еще, чтобы он обладал действительными качествами представления и аналитическими способностями, позволяющими устанавливать между богатствами отношения равенства и различия. Тогда оказывается, что использование золота и серебра вполне оправдано. Как говорит Бутру, деньги - «это часть вещества, которой общественный авторитет придал вес и определенную стоимость, чтобы служить ценой и уравнивать в торговле неравенство всех вещей» <B o u t e r o u e. Recherches curieuses des monnaies de FRance. Paris, 1666, p. 8.>. «Меркантилизм» освободил деньги от постулата действительной стоимости металла - «безумны те, для кого деньги есть товар, как и всякий другой» <J o s u a h G e e. Considerations sur le commerce, p. 13.>, - и одновременно установил между ними и богатством строгое отношение представления и анализа. «В деньгах ценят не только количество серебра, которое они содержат, - говорит Барбон, - но то, что они имеют хождение» <N. B a r b o n. A discourse concerning coining the new money lighter. Londres, 1696 (постр. нумерации нет).>. Обычно допускается двойная несправедливость по отношению к тому, что условились называть «меркантилизмом», когда в нем разоблачается то, что он не прекращал критиковать и сам (действительная стоимость металла как принцип богатства), и когда в нем обнаруживается

ряд явных противоречий: не определял ли он деньги в их чистой функции знака, в то же время требуя их накопления как какого-нибудь товара? Разве не признавал он значение количественных колебаний курса находящихся в обращении денег, не признавая при этом их воздействия на цены? Не являлся ли он протекционистским, всецело основывая на обмене механизм возрастания богатств? В действительности же эти противоречия или эти колебания существуют лишь постольку, поскольку перед меркантилизмом ставят дилемму, которая не могла иметь для него смысла, - дилемму денег как товара или денег как знака. Для возникающего классического мышления деньги - это то, что позволяет представлять богатства. Без таких знаков богатства оставались бы неподвижными, бесполезными и как бы немymi; золото и серебро являются в этом смысле творцами всего, что человек может страстно желать. Однако для того, чтобы иметь возможность играть эту роль представления, нужно, чтобы деньги представляли свойства (физические, а не экономические), которые делают их адекватными своей задаче и, следовательно, дорогими. Именно в качестве универсального знака деньги становятся редким и неравномерно распределенным товаром: «обращение и стоимость, предписанные любым деньгам, - вот истинная доброкачественность, присущая оным» <D u m o u l i n (цит. по: G o n n a r d. Histoire des theories monetaires, I, p. 173).>. Как в плане представлений знаки, которые их замещают и анализируют, должны сами быть представлениями, так и деньги не могут означать богатств, не будучи сами по себе богатством. Но они становятся богатством, потому что они являются знаками; в то время как представление должно сначала быть представленным, чтобы затем стать знаком.

Отсюда проистекают явные противоречия между принципами накопления и правилами обращения. В какой-то данный момент времени количество существующих золотых и серебряных монет является определенным; Кольбер даже считал, что, несмотря на эксплуатацию рудников, несмотря на приток американского золота, «количество денег, обращающихся в Европе: является постоянным». Следовательно, в этих деньгах нуждаются как в средстве представлять богатства, то есть в том, чтобы привлекать их (не {172} скрывать их), привозя их из-за границы или производя на месте; в них нуждаются также для того, чтобы передавать их из рук в руки в процессе обмена. Следовательно, необходимо ввозить металл из соседних государств: «Лишь одна торговля и все то, что от нее зависит, могут осуществить это великое дело» <C l e m e n t. Lettres, instructions et memoires de Colbert, t. VII, p. 239.>. Законодательство должно, следовательно, позаботиться о двух вещах: «запретить вывоз металла за границу или его использование для иных, чем чеканка денег, целей и установить такую таможенную пошлину, которая позволит торговому балансу быть всегда положительным, поощряя ввоз сырья,

предотвращать, насколько это возможно, ввоз готовых изделий, вывозить промышленные товары, а не продукты питания, исчезновение которых приводит к голоду и вызывает рост цен» <C l e m e n t. Lettres, instructions et memoires de Colbert, t. VII, p. 284. См. также: B o u t e r o u e. Resherches curieuses, p. 10 -11.>. Итак, накапливающийся металл не предназначен к тому, чтобы закупориваться или оставаться неиспользованным: он привлекается в государство лишь для того, чтобы расходоваться в процессе обмена. Как говорил Бехер, все, что является расходом для одного из партнеров, оказывается доходом для другого, а Томас Ман отождествлял наличные деньги с богатством <Th. M u n. England Treasure by foreign trade, 1664, ch. II.>. Это обусловлено тем, что деньги становятся реальным богатством лишь в той мере, в какой они выполняют свою функцию в предоставлении богатства: когда они замещают товары, когда они позволяют им перемещаться или ждать, когда они дают возможность сырью стать потребляемым, когда они оплачивают труд. Следовательно, не надо опасаться, что накопление денег в государстве привело бы к повышению цен; и принцип, установленный Боденом, согласно которому большая дороговизна в XVI веке была вызвана притоком американского золота, несостоятелен. Если верно, что умножение находящихся в обращении денег сначала поднимает цены, то оно же стимулирует торговлю и мануфактурное производство; количество богатств возрастает, и число элементов, между которыми распределяются деньги, оказывается, возрастает на столько же. Высоты цен не следует опасаться; напротив, теперь, когда дорогие предметы приумножены, теперь, когда буржуа, как говорит Сципион де Граммон, могут носить «атлас и бархат», стоимость вещей, даже самых редких, могла лишь упасть по отношению к совокупности остальных; также каждый кусок металла теряет часть своей стоимости наряду с другими по мере того, как увеличивается масса находящихся в обращении денег <S c i p i o n de G r a m m o n. Le Denier royal, p. 116 -119.>.

Таким образом, отношения между богатством и деньгами устанавливаются в обращении и в обмене, а не в «драгоценности» самого металла. Когда ценности могут обращаться (и это благодаря деньгам), они приумножаются, и богатства возрастают; когда денег становится больше благодаря хорошему обращению и благоприятному {173} торговому балансу, то тогда можно привлекать новые товары и расширять сельскохозяйственное и фабричное производство. Следовательно, вместе с Хорнеком можно сказать, что золото и серебро - это «самая чистая наша кровь, основа наших сил», «самые необходимые средства человеческой деятельности и нашего существования» <См.: D a v a n z a t t i. Lecon sur la monnaie (цит. по: J.-Y. L e B r a n c h u. Op. cit., t. II, 230)>. Однако у Давандзатти деньги служили лишь для того, чтобы «орошать» различные части

нации. Теперь же, когда деньги и богатство рассматриваются внутри пространства обменов и обращения, меркантилизм может выверить свой анализ по модели, данной тогда же Гарвеем. Согласно Гоббсу<T h. H o b b e s. Leviathan, ed. 1904, Cambridge, p. 79 -180.>, подобная венам система каналов, по которым деньги передаются, - это система налогов и обложений, изымающих из перемещающихся, купленных или проданных товаров определенную массу металла, доставляя ее к сердцу Человека-Левиафана, то есть в государственное казначейство. Таким образом, металл становится «условием жизни»: государство действительно может его выплавлять или пускать в обращение. В любом случае авторитет государства определяет его курс; будучи распределен по различным отраслям (в форме пенсий, жалованья или вознаграждения за услуги, купленные государством), он стимулирует во втором цикле, теперь уже артериальном, обмена, а также промышленное и сельскохозяйственное производство. Циркуляция, таким образом, становится одной из основных категорий анализа. Но перенесение сюда этой физиологической модели стало возможным лишь благодаря более глубокому раскрытию общего - для денег и знаков, для богатств и представлений - пространства. Столь привычная для нашего Запада метафора, уподобляющая город телу, обрела в XVII веке свою воображаемую силу лишь на основе гораздо более радикальных археологических потребностей. В ходе меркантилистской практики область богатств складывается таким образом, как и область представлений. Мы видели, что представления обладали способностью представлять себя исходя из самих себя: открывать в самих себе пространство, в котором они анализировались, и образовывать вместе с их собственными элементами заместители, позволяющие устанавливать одновременно систему знаков и таблицу тождеств и различий. Тем же самым образом богатства обладают способностью обмениваться, анализироваться в таких частях, которые обеспечивают отношения равенства или неравенства, взаимно означать друг друга посредством таких вполне пригодных для сравнения элементов богатств, какими являются драгоценные металлы. Как весь мир представления покрывается представлениями второго порядка, которые их представляют, причем в непрерываемой цепи, так все богатства мира соотносятся друг с другом в той мере, в какой они участвуют в системе обмена. Между двумя представлениями нет автономного акта обозначения, но только простая и неопределенная возможность обмена. Каким бы ни были его установления и {174} экономические последствия, меркантилизм, если его исследовать на уровне эпистемы, представляется постепенным, длительным усилием включить размышление о ценах и деньгах в прямую цепь анализа представлений. Он породил область «богатств», связанную с областью, которая в ту же эпоху открылась перед естественной историей, а также и с той, которая

тогда же развернулась и перед всеобщей грамматикой. Но в то время как в этих двух последних случаях перелом произошел внезапно (определенный способ бытия языка вдруг возникает в «Грамматике Пор-Роядя», определенный способ бытия природных существ обнаруживается почти сразу у Джонстона и Турнефора), то здесь, напротив, способ бытия денег и богатства, будучи целиком и полностью связанным с некоей практикой (praxis), с некоей институциональной структурой, обладал гораздо более высоким коэффициентом исторической вязкости. Природные существа и язык не нуждались в эквиваленте длительной меркантилистской деятельности для того, чтобы войти в область представления, подчиниться его законам, получить от него свои знаки и свои принципы построения.

4. ЗАЛОГ И ЦЕНА

Как хорошо известно, классическая теория денег и цен была выработана в ходе самой исторической практики. Это прежде всего великий кризис денежных знаков, который достаточно рано разразился в Европе в XVII веке. Нужно ли усматривать первое его осознание, еще замаскированное и неакцентированное, в том утверждении Кольбера, что в Европе масса металла постоянна и что американскими пополнениями можно пренебречь? Во всяком случае, к концу столетия на опыте убеждаются, что драгоценный металл для чеканки монет встречается очень редко: упадок торговли, падение цен, трудности при выплате долгов, рент, налогов, обесценение земли. Вот чем объясняется длинная череда девальваций, имевших место во Франции в течение первых пятнадцати лет XVIII столетия и увеличивших количество обращающихся денег; это и все одиннадцать «сокращений» (ревальваций), проведенных между 1 декабря 1713 года и 1 сентября 1715 года и предназначенных - эти надежды не сбылись - вернуть в обращение спрятанный металл; и целый ряд мер, понизивших процентную ставку рент и урезавших их номинальный капитал; и появление в 1701 году ассигнаций, вскоре замещенных государственными облигациями. Наряду с многими другими последствиями афера Лоу давал возможность вернуть драгоценные металлы в обращение, повысить цены, произвести переоценку земли, оживить торговлю. Январский и майский указы 1726 года устанавливают стабильные для всего XVIII века металлические деньги: в соответствии с ними чеканится луидор, который равняется вплоть до Революции двадцати четырем турецким ливрам. В этих событиях, в их теоретическом контексте, в дискуссиях, которые они вызывали, привыкли видеть борьбу сторонников концепции денег как знака с приверженцами концепции денег как товара. С одной стороны, это Лоу, а с ним, конечно,

и Террасон<T e r r a s s o n. Trois lettres sur le nouveau systeme de finances, Paris, 1720.>, Дюто<D u t o. Reflexions sur le commerce et les finances, Paris, 1738.>, Монтескье<M o n t e s q u i e u. L'Esprit des lois, liv. XXII, ch. II.>, шевалье де Жокур<Статья «Деньги» в «Энциклопедии».>; с другой же стороны - Пари-Дюверне<P a r i s-D u v e r n e y. Examen des reflexions politiques sur les finances, La Haye, 1740.>, канцлер д'Агессо<D'A g u e s s e a u. Considerations sur monnaie, 1718 (CEuvres, Paris, 1777, t. X).>, Кондильяк, Дестю де Траси, причем между двумя группами, как бы в промежуточной позиции, надо было бы поставить Мелона<M e l o n. Essai polique sur le commerce, Paris, 1734.> и Гралена<G r a s l i n. Essai analytique sur les richesses, Londres, 1767.>. Конечно, интересно было бы сделать точный обзор всех мнений и выявить их распределение по различным социальным группам. Но, обращаясь за ответом к знанию, сделавшему возможными все эти точки зрения сразу, нельзя не заметить, что это противопоставление является поверхностным. И если оно все же необходимо, то лишь на основании рассмотрения единой диспозиции, определяющей в решающем пункте вилку неизбежного выбора. Эта единая диспозиция определяет деньги в качестве залога. Такое определение содержится у Локка и несколько раньше его у Вогана<V a u g h a n. A discourse of coin and coinage, London, 1675, p. 1. L o c k e. Considerations of the lowering of interests (Works, London, 1801, t. V, p. 21 -23).>; затем у Мелона: «золото и серебро, с общего согласия, представляют собой залог, эквивалент или общую меру всего, что употребляется людьми» <M e l o n. Essai politique sur le commerce (цит. по: D a i r e. Economistes et financiers du XVIIIe siecle, p. 761)., у Дюто: «богатства на основе доверия или мнения являются лишь представительными богатствами, как золото, серебро, бронза, медь<D u t o t. Reflexions sur le commerce et les finances. ibid., p. 905 -906).>, у Форбонне: «важный момент» в богатствах на основе соглашения «состоит в той уверенности, с которой собственники денег и продуктов обменивают их, когда того захотят... на основе, установленной обычаем» <V e r o n d e F o r t b o n n a i s. Elements de commerce, t. II, p. 91. См. также: Recherches et considerations sur les richesses de la France, II, p. 582.>. Сказать, что деньги являются залогом, - это значит, что они являются всего лишь жетоном, полученным на основе общего согласия, следовательно, чистой фикцией; но это означает также, что они в точности стоят то, за что из дали, так как они могут в свою очередь быть обменены на то же самое количество товара или его эквивалента. Деньги всегда могут доставить в руки их владельца то, что было только что обменено на них, совершенно так же, как в представлении знак должен быть способен доставить мышлению то, что он представляет. Деньги - это надежная память, представление, которое удваивается, отсроченный обмен. Как говорит Ле трон, торговля, использующая {176} деньги, является усовершенствованием в той самой мере, в какой она является

«несовершенной торговлей» <L e T r o s n e. De l'interet social (цит. по: D a i r e. Physiocrates, p. 908).>, актом, которому временно не хватает того, что его компенсирует, полуоперацией, обещающей и ожидающей обратного обмена, посредством которого залог вернулся бы в свое действительное содержание.

Но как денежный залог может дать такую уверенность? Каким образом он может избежать дилеммы знака без значения или товара, аналогичного всем остальным? С точки зрения классического анализа денег именно здесь возникает спорный вопрос, разделивший сторонников и противников Лоу. На самом деле можно допустить, что закладывание денег обеспечивается товарной стоимостью материала, из которого они изготовлены, или, напротив, другим посторонним товаром, который, однако, был бы связан с заложенными деньгами коллективным соглашением или волей государя. Лоу выбирает второе решение по причине редкости металла и колебаний его товарной стоимости. Он считает, что можно заставить обращаться бумажные деньги, которые обеспечивались бы недвижимостью: таким образом, речь идет лишь об эмиссии «закладных билетов на землю, которые должны погашаться годовыми выплатами... эти билеты обращаются как серебряные деньги по той стоимости, на которую они указывают» <L a w. Considerations sur le numeraire (цит. по: D a i r e. Economistes et financiers du XVIII siecle, p. 519).>. Известно, что Лоу вынужден был отказаться от этого метода в ходе своей французской аферы и обеспечивать заклад денег торговой компанией. Неудача предприятия ни в чем не подорвала теорию денег как залога, которая сделала это предприятие возможным, но которая в равной мере обуславливала возможность любой трактовки денег, даже противоположной концепциям Лоу. И когда в 1726 году устанавливается стабильная металлическая денежная система, то залог испрашивается у самого вещества денег. Товарная стоимость металла, который представлен деньгами, обеспечивает способность денег к обмену. Тюрго критиковал Лоу за то, что тот верил, что «деньги являются лишь богатством знака, доверие к которому основано на печати государя. Эта печать служит здесь лишь для того, чтобы удостоверить вес и пробу денег. Следовательно, в качестве товара деньги являются не знаком, но общей мерой других товаров... Цену золоту придает его редкость, и вовсе не плохо то, чтобы оно использовалось в одно и то же время и как товар, и как мера - оба этих использования поддерживают его цену» <T u r g o. Seconde lettre a l'abbe de Cice, 1749 (CEuvres, ed. Schelle, t. I< p. 146 -147).>. Лоу вместе со своими сторонниками не противостоит своему веку как гениальный - или неосторожный - предшественник бумажных денег. Как и его противники, он определяет деньги как залог. Однако он считает, что они будут лучше обеспечены (одновременно более полно и более стабильно) посторонним по отношению к

самому веществу денег товаром; его противники, напротив, считают, что они будут лучше обеспечены (более надежным и менее подверженным спекуляциям) металлом, представляющим собой материальную действительность денег. Расхождение Лоу с его критиками касается лишь дистанции между тем, что заложено, и тем, что взято под залог. В одном случае деньги, освобожденные в самих себе от всякой товарной стоимости, но обеспеченные внешней стоимостью, являются тем, «посредством чего» обменивают товары <L a w. Considerations sur le numeraire, p. 472 и сл.>, а в другом случае деньги, неся в самих себе цену, являются и этим «посредством чего», и этим «ради чего» обмениваются богатства. Но как в одном, так и в другом случае деньги позволяют установить цену вещей благодаря определенному отношению пропорции между богатствами и определенной способностью заставить их обращаться.

В качестве залога деньги обозначают определенное (настоящее или нет) богатство; они устанавливают для него цену. Однако отношение между деньгами и товарами, а следовательно, система цен изменяется, как только в какой-то момент изменяется также количество денег или товаров. Если деньги находятся в малом количестве по отношению к ценностям, то они будут иметь большую стоимость и цены станут низкими; если же их количество возрастает настолько, что они образуют избыток по отношению к богатствам, то ни будут иметь небольшую стоимость и цены станут высокими. Способность денег к представлению и анализу богатств изменяется, с одной стороны, вместе с количеством звонкой монеты и, с другой, вместе с количеством богатств: она была бы постоянной, если бы эти два количества были неизменны или изменялись вместе в одной и той же пропорции.

«Количественный закон» не был «выдуман» Локком. Уже в XVI веке Боден и Давандзатти хорошо знали, что увеличение в обращении массы металла поднимало цены товаров; но этот механизм казался связанным с действительным обесцениванием металла. К концу XVII века этот же самый механизм определил, исходя из связанной с представлением богатств функции денег, «количество денег, соотносимое со всей торговлей». Преобладание металла - и сразу же каждый существующий в мире товар сможет располагать немного большим количеством представленных элементов; преобладание товаров - и каждая металлическая денежная единица будет обеспечена немного больше. Достаточно взять какой-нибудь продукт в качестве стабильной системы отсчета, и тогда явление изменения выступит с полной ясностью. «Если мы примем, - говорит Локк, - зерно в качестве фиксированной меры, то мы обнаружим, что стоимость серебра претерпела те же изменения, что и другие товары... Причина этого понятна. Со времени открытия Вест-Индии количество серебра по сравнению с прежним выросло в

десять раз; оно стоит также в 9 - 10 раз меньше, то есть нужно отдать в 10 раз больше серебра, чем отдавали 200 лет назад, чтобы купить то же самое количество товаров» <L o s k e. Considerations of lowering of interests, p. 73.>. Упоминаемое здесь снижение стоимости металла не затрагивает присущего ему качества быть драгоценным, но касается его общей способности к представлению богатств. Деньги и богатства нужно рассматривать как две сопряженные массы, которые с необходимостью согласуются между собой: «Как сумма одного относится к сумме другого, так часть одного будет относиться к части другого... Если бы имелся какой-нибудь товар, делимый, как золото, то половина этого товара отвечала бы половине всей суммы с другой стороны» <M o n t e s q u i e u. L'Esprit des lois, liv. XXII, ch. VII.>. Если предположить, что на свете имеется всего лишь один товар, то все золото земли должно быть в наличии, чтобы его представить; и наоборот, если бы люди обладали лишь одной монетой, то все богатства, производимые природой или руками человека, должны были бы участвовать в покрытии ее стоимости. Согласно этой предельной ситуации, если приток серебра возрастает, а продукты остаются в том же количестве, то «стоимость каждой монеты соответственно уменьшается». Напротив, «если промышленность, ремесла и науки вводят в обращение новые предметы... то нужно будет приспособить к выражению новой стоимости этих новых изделий часть знаков, представляющих стоимость; причем эта часть уменьшится в своем относительном количестве настолько, насколько возрастет ее представленная стоимость, чтобы представлять теперь больше стоимостей, причем ее функцией является представление их всех в тех пропорциях, которые им соответствуют» <G r a s l i n. Essai analytique sur les richesses, p. 54 -55.>.

Следовательно, нет справедливой цены: ничто в каком-либо товаре не указывает посредством какого-то его внутреннего признака на то количество денег, которое нужно было бы за него заплатить. Дешевизна не более и не менее точна, чем дороговизна. Тем не менее существуют правила удобства, позволяющие установить количество денег, посредством которых желательно представлять богатства. В крайнем случае каждая доступная обмену вещь должна иметь свой эквивалент - «свое обозначение» - в деньгах, что было бы лишено неудобства в том случае, когда используемые деньги были бы бумажными (их изготавливали бы или уничтожали, в зависимости от потребностей обращения), но что было бы затруднительно или даже невозможно, если деньги изготавливаются из металла. Итак, одна и та же денежная единица, обращаясь, способна представлять множество вещей. Когда она переходит в другие руки, то она является то платой за вещь ее хозяину, то заработком рабочего, то оплатой купленного на рынке или у фермера продукта, то рентой, выплачиваемой собственнику. С течением времени и

сменой людей одна и та же масса металла может представлять много эквивалентных вещей (вещь, труд, меру зерна, часть дохода), как имя нарицательное может представлять много вещей или как таксономический признак может представлять множество особей, видов, родов и т. д. Но как признак охватывает тем более широкую общность, чем больше богатств, чем быстрее они обращаются. Распространение признака определяется числом группируемых им видов (следовательно, пространством, занимаемым им в таблице); скорость обращения - числом рук, через которые проходят деньги в течение времени, нужного для возвращения денег к их исходному пункту (поэтому выбирают как исходный эталон оплату продуктов сельского хозяйства, так как здесь мы имеем совершенно определенные годовые циклы). Итак, мы видим, что таксономическому распространению признаков в одновременном пространстве таблицы соответствует скорость денежного обращения в течение определенного времени.

Эта скорость имеет два предела: бесконечно большая скорость, которая была бы скоростью непосредственного обмена, где деньги не играли бы никакой роли, и бесконечно малая скорость, когда каждый элемент богатства имел бы своего денежного дублера. Между этими двумя крайностями находятся различные скорости, которым отвечают количества денег, делающие их возможными. Итак, циклы обращения управляются ежегодными доходами от урожаев; следовательно, исходя из них, можно, учитывая при этом число людей, живущих в государстве, определить необходимое и достаточное количество денег, которые прошли бы через все руки и представили по крайней мере пропитание каждого. Теперь нам ясно, как в XVIII веке связывались между собой анализы обращения, отталкивающиеся от сельскохозяйственных доходов, проблема роста народонаселения и вычисление оптимального количества денежных знаков. Тройной вопрос, который задается при этом в нормативной форме: так как проблема состоит не в знании того, посредством каких механизмов деньги обращаются или застаиваются, как они расходуются или накапливаются (такие вопросы возможны лишь в экономии, ставящей проблемы производства и капитала), но в том, какое количество денег необходимо для того, чтобы в данной стране обращение совершалось достаточно быстро, проходя через достаточно большое число рук. Таким образом, цены не будут «точными» по природе, но будут точно приспособленными: части денежной массы будет анализировать богатство согласно расчленению, которое не будет ни слишком слабым, ни слишком жестким. «Таблица» будет хорошо построенной.

Эта оптимальная пропорция зависит от того, рассматривается ли изолированная страна или система ее внешней торговли. Если предположить такое государство, которое было бы способно жить на свои средства, то обнаруживается, что количество денег,

необходимых для обращения, зависит от многих переменных: количества товаров, вступающих в систему обмена; части этих товаров, которая, не будучи ни распроданной, ни купленной в системе обмена, должна быть в некоторый момент своего движения представленной посредством денег; количества металла, на который могут замещаться бумаги; наконец, ритма, в котором должны осуществляться выплаты: небезразлично, как это замечает Кантильон<C a n t i l l o n. Essai sur la nature du commerce en generale, ed. 1952, p. 73.>, оплачиваются ли рабочие в конце недели или дня, выплачиваются ли ренты в конце года или раньше, как принято, в конце каждого квартала. Когда значение этих четырех переменных определено для данной страны, то можно определить и оптимальное количество металлических денег. Чтобы произвести такое вычисление, Кантильон исходит из продукции земли, которая служит источником богатств непосредственно или опосредованно. Эта продукция подразделяется на три вида ренты в руках фермера: рента, выплачиваемая собственнику; рента, расходуемая на содержание работников и лошадей; наконец, «третья рента, которая должна у него сохраниться в качестве прибыли от его дела» <Id., ibid., p. 68 -69.>. Итак, только первая рента и примерно половина третьей должны быть обращены в деньги, другие же могут расходоваться в форме прямых обменов. Учитывая, что половина населения проживает в городах и имеет траты на содержание дома более высокие, чем крестьяне, мы обнаруживаем, что обращающаяся масса денег должна была бы быть равной почти $\frac{2}{3}$ исходной продукции, если бы все выплаты делались один раз в год. Но в действительности поземельная рента выплачивается каждый квартал, поэтому достаточно количества денег, эквивалентного $\frac{1}{6}$ продукции. Более того, немало выплат производится в течение дня или недели; следовательно, количество требуемых денег равняется примерно девятой части продукции, то есть $\frac{1}{3}$ от ренты, выплачиваемой собственниками<Id., ibid., p. 69 -73. Петти давал близкую к $\frac{1}{10}$ долю (Anatomie politique de l'Irlande)>. Однако этот расчет верен лишь при условии, что нация находится в изоляции. Но большинство государств поддерживают с другими государствами торговые сношения, в рамках которых единственными средствами расчета являются обмен, металл, оцениваемый согласно его весу (а не денежные знаки с их номинальной стоимостью), и иногда банковские чеки. В этом случае также можно вычислить относительное количество денег, желательное для пуска его в обращение: во всяком случае, это оценка должна соотноситься не с сельскохозяйственным продуктом, а с отношением заработков и цен с заработками и ценами в зарубежных странах. Действительно, в стране, в которой цены относительно невысоки (по причине незначительного количества денег), деньги из-за границы поступают благодаря большим покупательным возможностям: количество металла возрастает. Государство, как

говорится, становится «богатым и сильным»; оно может содержать армию и флот, добиваться побед, еще более обогащаясь. Количество обращающихся денег увеличивается, благодаря чему цены растут, позволяя некоторым совершать покупки за границей, где цены низкие; мало-помалу металл исчезает и государство снова становится бедным. Таков цикл, описанный Кантильоном; его определение он дает во всеобщем принципе: «Слишком большой избыток денег, образующийся, пока он поддерживает могущество государств, незаметным и естественным образом отбрасывает их в бедность» <C a n t i l l o n. Loc. cit., p. 76.>.

Конечно, этих колебаний нельзя было бы избежать, если бы в порядке вещей не существовала противоположная тенденция, неуклонно усиливающая нищету уже бедных наций и, напротив, способствующая росту благополучия богатых государств. Это связано с тем, что перемещение населения происходит в направлении, противоположном движению денег: если деньги движутся из процветающих государств в регионы с низкими ценами, то люди, прельщаясь высокими заработками, движутся в те страны, которые располагают избытком денег. Таким образом, в бедных странах наблюдается тенденция к сокращению народонаселения, что, нанося ущерб сельскому хозяйству и промышленности, увеличивает их бедность. В богатых же странах, напротив, приток рабочих рук позволяет осваивать новые богатства, сбыт которых растет вместе с ростом количества обращающегося металла <D u t o t. Reflexions sur le commerce et les finances, p. 862 и 906.>. Следовательно, задачей политики является гармонизация этих противоположных движений населения и денег. Число жителей должно медленно, но непрерывно возрастать для того, чтобы мануфактуры всегда находили избыток рабочей силы; при этом заработки и цены не будут возрастать более быстро, чем богатства, что будет благоприятствовать торговому балансу: в этом основа доктрин популистов <см.: V e r o n d e F o r t b o n n a i s. Elements du commerce, t. I., p. 45 и особенно: T u c k e r.

Questions importantes sur le commerce (CEuvres, I, p. 335).>. Однако, с другой стороны, нужно, чтобы количество денег также всегда понемногу возрастало; это единственное средство для того, чтобы продукты сельского хозяйства и промышленности находили хороший сбыт, чтобы заработки были достаточными, чтобы население не нищенствовало посреди производимых им богатств; этим определяются все меры по развитию внешней торговли и поддержке положительного торгового баланса.

Таким образом, не какое-либо принятое законодательство обеспечивает равновесие и препятствует глубоким колебаниям между богатством и бедностью, а естественное и скоординированное сочетание этих двух движений. Государство процветает не тогда, когда денег много или цены высоки, но когда денежная масса находится в стадии роста -

что нужно всегда сохранять, - позволяя стабилизировать заработки без возрастания цен; тогда население непрерывно растет, его труд все время производит больше продуктов, и последовательное возрастание денежной массы, которая распределяется (согласно закону представительства) среди немногочисленных богатств, не приводит к возрастанию цен по отношению к ценам за рубежом. Отношение «между возрастанием количества золота и повышением цен» таково, что только «возрастание количества золота и денег является благоприятным для промышленности. Нация, денежная масса которой находится в стадии сокращения, является в момент, когда производится сравнение, более слабой и более бедной, чем другая нация, которая не обладает большим количеством денег, но денежная масса которой находится в стадии роста»^{<H u m e. De la circulation monetaire (Œuvres économiques, p. 29 -30).>}. Это объясняет упадок испанского могущества: действительно, освоение рудников существенно увеличило денежную массу, а следовательно, и цены, но промышленность, сельское хозяйство и население не успели развиваться в соответствующей пропорции. Было неизбежно, что американское золото, распространяясь по Европе, скупая продукты, вызывая рост мануфактурного производства, обогащая фермы, оставило Испанию более бедной, чем она когда-либо была. Напротив, Англия, если она и привлекала к себе металл, то всегда делала это с пользой для труда, а не ради одной лишь роскоши своих подданных, то есть для того, чтобы, до всякого роста цен, росло число ее рабочих и количество производимых ею продуктов^{<Верон де Форбонне дает восемь основных правил английской торговли (V e r o n d e F o r t b o n n a i s. Elements du commerce, t. I, p. 51 -52).>}.

Значение такого рода анализов состоит в том, что они вводят понятие прогресса в порядок человеческой деятельности. Но их значение еще в большей степени обуславливается тем, что они связывают игру знаков и представлений с временным показателем, определяющим условие возможности прогресса, показателем, отсутствующим в любой другой сфере теории порядка. Действительно, деньги, как они понимаются в классическом мышлении, не могут представлять богатства без того, чтобы эта их способность не изменялась изнутри со временем - будь то увеличение способности денег представлять богатства в ходе какого-то спонтанного цикла, будь то поддержание этой способности в ходе продуманных политических мероприятий. В плане естественной истории признаки (пучки тождеств, избранные для представления и различения множества видов и родов) размещались внутри непрерывного пространства природы, расчленяемого ими в таксономической таблице; время входило только лишь извне с тем, чтобы нарушить непрерывность мельчайших различий и рассеять их по изолированным географическим ареалам. Здесь же, напротив, время принадлежит к внутреннему порядку

представлений, составляя с ним единое целое. Оно сопровождает и непрерывно изменяет способность богатств представлять и анализировать самих себя в денежной системе. Поэтому, где естественная история открывала участки тождеств, разделенные различиями, там анализ богатств открывает «дифференциалы» - тенденции к увеличению и уменьшению. Эта функция времени в богатстве должна была появиться с того самого момента (в конце XVII века), когда деньги определялись как залог и смешивались с кредитом: в этот период длительность доверенности, скорость ее оплаты, число рук, через которые она проходила в течение данного времени, не могли не стать характерными переменными ее способности к представлению денег. Но все это - лишь следствие формы рефлексии, размещавшей денежный знак по отношению к богатству в позиции представления в полном смысле этого слова. Следовательно, одна и та же археологическая сетка служит в анализе богатств основной теории денег-представления, а в естественной истории - теории признака-представления. Признак обозначает существа, располагая их в {183} порядке их соседствования друг с другом; цена, выраженная в деньгах, обозначает богатства, однако в ходе их увеличения или уменьшения.

5. ОБРАЗОВАНИЕ СТОИМОСТИ

Теория денег и торговли отвечает на вопрос, как в ходе обменов цены могут характеризовать вещи, как в сфере богатств деньги могут устанавливать систему знаков и обозначения? Теория стоимости, обследуя как бы в глубине и по вертикали горизонтальную плоскость бесконечных обменов, отвечает на вопрос, который пересекается с вопросом о том, почему есть такие вещи, которые люди стремятся обменять, почему одни стоят больше, чем другие, почему некоторые из них, будучи бесполезными, обладают высокой стоимостью, в то время как другие, будучи необходимыми, не стоят ничего? Таким образом, речь идет уже не о познании механизма, согласно которому богатства могут представляться среди себе подобных (посредством того универсально представленного богатства, каким является драгоценный металл), а о выяснении того, почему объекты желания и потребности должны быть представленными, каким образом определяется стоимость вещи и почему можно утверждать, что она стоит столько-то или столько. Для классического мышления «стоять» означает прежде всего стоять что-то, быть в состоянии замещать это «что-то» в процессе обмена. Деньги были изобретены, цены устанавливаются и изменяются лишь в той мере, в какой существует обмен. Но обмен только по видимости является простым феноменом. Действительно, обмен совершается лишь при условии, что каждый из двух партнеров признает стоимость

того, чем владеет другой. Следовательно, с одной стороны, эти способные к обмену вещи вместе с присущими им стоимостями должны существовать сначала в руках каждого для того, чтобы, наконец, осуществилась их двойная уступка и двойное приобретение. Но, с другой стороны, то, что каждый ест и пьет, то, в чем он нуждается для поддержания своей жизни, не имеет стоимости постольку, поскольку он этого не уступает; подобно этому лишено стоимости и то, в чем каждый не испытывает нужды постольку, поскольку он не пользуется этой вещью, чтобы приобрести другую, в которой он нуждается. Иначе говоря, для того, чтобы одна вещь могла представлять другую в обмене, необходимо, чтобы они предварительно обладали стоимостью; но тем не менее стоимость существует лишь внутри представления (действительного или возможного), то есть внутри обмена или способности к обмену. Отсюда следуют две возможные интерпретации: одна рассматривает стоимость в самом акте обмена в точке пересечения отданного и полученного, а другая считает ее предшествующей обмену в качестве его первого условия. Первая интерпретация соответствует тому анализу, который размещает и замыкает всю сущность языка внутри предложения; вторая - анализу, который эту же самую сущность языка находит в первичных обозначениях - в языке действия или языке корней. Действительно, в первом случае язык оказывается возможным в обеспечиваемом глаголом определении, то есть гарантируется таким элементом языка, который, скрываясь за всеми словами, соотносит их между собой; глагол, полагая все слова языка возможными, исходя из их пропозициональной связи, соответствует обмену, полагающему в качестве изначального акта стоимость обмениваемых вещей и цену, за которую их уступают. В другой форме анализа язык рассматривается укорененным вне его самого, как бы в природе или в сходствах вещей; причем корень, первый крик, порождающий слова даже до рождения самого языка, соответствует непосредственному образованию стоимости до обмена и взаимных действий потребности. Но для грамматики эти две формы анализа - исходящего либо из предложения, либо из корней - являются совершенно различными, потому что грамматика имеет дело с языком, то есть с системой представлений, предназначений одновременно и обозначать, и выносить суждение, или же имеющей отношение сразу и к объекту, и к истине. В сфере экономики этого различия не существует, так как для желания отношение к его объекту и утверждение, что он является желательным, представляют собой совершенно одно и то же; обозначать - значит уже устанавливать связь. Таким образом, там, где грамматика располагала двумя отделенными, но пригнанными друг к другу теоретическими сегментами, образуя прежде всего анализ предложения (или суждения), потом анализ обозначения (жеста или корня), там экономия знает лишь один-единственный теоретический сегмент, который, однако,

дает возможность осуществлять две противоположные интерпретации. Одна интерпретация анализирует стоимость, исходя из обмена объектов потребности - полезных объектов; другая - исходя из образования и возникновения объектов, обмен которыми определит затем стоимость, то есть исходя из неисчерпаемости природы. Как считают, эти две интерпретации разделяет известный нам спорный вопрос: он разделяет то, что называют «психологической теорией» Кондильяка, Галиани, Гралена, и теорию физиократов (Кенэ с его школой). Движение физиократов, несомненно, не имеет того значения, которое ему было приписано экономистами в начале XIX века, когда они усматривали в нем формирование основ политической экономии, но было бы столь же ошибочным приписывать эту роль, как это делали маргиналисты, «психологической школе». Между этими двумя способами анализа нет никаких других различий, кроме различия в исходной точке и направлении, выбранных для охвата в обоих случаях одной и той же сети необходимых связей. Согласно физиократам, возможность обмена необходима для того, чтобы имелись стоимость и богатства: то есть необходимо иметь в своем распоряжении излишек продуктов, в которых нуждается другой. Плод, который я хочу съесть, который я срываю и ем, это благо, предоставленное мне природой; богатство будет иметься лишь в том случае, если плодов на моем дереве достаточно много, чтобы превысить возможности моего аппетита. К тому же необходимо, чтобы {185} другой испытывал голод и просил плоды у меня. «Воздух, которым мы дышим, - говорит Кенэ, - воду, которую мы черпаем в реке, и все другие блага и богатства, находящиеся в изобилии и предоставленные всем людям, исключены из торговых отношений: это блага, но не богатства» <Q u e s n a y. Article “Hommes” (цит. по: D a i r e. Les Physiocrates, p. 42).>. обмену предшествует лишь та - изобильная или редкая - реальность, которую доставляет природа; лишь запрос одного и отказ другого в силах вызвать появление стоимостей. Итак, цель обменов состоит в распределении излишков таким образом, чтобы они распределялись среди тех, кто испытывает нужду. Следовательно, они являются «богатством» лишь временно, пока, присутствуя у одних и отсутствуя у других, они начинают и проходят путь, который, приводя их к потребителям, восстанавливает их изначальную природу благ. «Цель обмена, - говорит Мерсье де Ла Ривьер, - есть пользование, потребление, так что торговлю можно в целом определить как обмен полезных вещей, приводящий к их распределению среди их потребителей» <M e r c i e r d e l a R i v i e r e. L'Ordre naturel et essentiel des societes politiques (цит. по: D a i r e. Les Physiocrates, p. 709).>. Таким образом, это образование стоимости посредством торговли<>Рассматриваемые как реализуемые в торговле богатства - зерно, железо, купорос, алмаз - в равной мере являются богатствами, стоимость которых заключается

лишь в цене» (Quesnay. Art. «Hommes», loc. cit., p. 138).> не может происходить без изъятия благ: действительно, торговля перемещает вещи, включает издержки перевозки, хранения, преобразования, продажи<D u p o n t d e N e m o u r s. Reponse demandee, p. 16.>; короче говоря, нужно затратить определенное количество благ для того, чтобы сами блага были превращены в богатства. Только лишь та торговля, которая не стоила бы ничего, была бы чистым и простым обменом; блага являются богатствами и стоимостями здесь лишь в мгновенном акте, в момент обмена: «Если бы обмен мог совершаться непосредственно и без издержек, то не было бы ничего более благоприятного для обоих партнеров; сильно ошибаются, когда принимают за саму торговлю промежуточные операции, обслуживающие торговлю»<S a i n t-P e r a v u. Journal d'agriculture, dec. 1765.>. Физиократы признают лишь вещественную реальность благ; таким образом, образование в обмене стоимости становится дорогостоящим процессом и приводит к уменьшению существующих благ. Образовать стоимость, следовательно, не означает удовлетворить самые многочисленные потребности, а означает пожертвовать одними благами ради их обмена на другие. Стоимости образуют отрицательный момент благ.

Но откуда проистекает возможность образования стоимости? Каков источник этого излишка, позволяющего благам превращаться в богатства, не поглощаясь и не исчезая при этом в ходе последовательных обменов и обращения? Как случается то, что издержки этого беспрестанного образования стоимости не истощают благ, имеющих в распоряжении людей?

Может ли торговля найти в себе самой это необходимое ей дополнение? Конечно, нет, так как предполагается обмен стоимости на стоимость согласно максимально возможному равенству. «Чтобы много получить, надо много отдать, и чтобы много отдать, нужно много получить. Вот все искусство торговли. По своей природе торговля заставляет обменивать множество вещей лишь равной стоимости»<S a i n t-P e r a v u. Journal d'agriculture, dec. 1765.>. Естественно, что товар, прибывая на отдаленный рынок, может обмениваться по более высокой цене, чем та, по которой он обменивался у себя, но это возрастание отвечает действительным издержкам его перевозки; если он ничего не теряет вследствие этого, то это означает, что остающийся на месте товар, на который он был обменен, потерял эти издержки перевозки в своей собственной цене. Как бы ни гоняли товары с одного конца света на другой, «издержки обмена» всегда вычитаются из обмениваемых благ. Этот излишек производится не торговлей: его существование необходимо, чтобы торговля была возможной. Также и промышленность не может возместить издержки образования стоимости. Действительно, продукты мануфактур могут поступать в продажу согласно двум механизмам. Если цены являются свободными,

конкуренция стремится понизить их так, что, за исключением исходного сырья, они в точности соответствуют труду рабочего, преобразующего это сырье; согласно определению Кантильона, эта плата отвечает поддержанию жизни рабочего в течение того времени, когда он работает; конечно, нужно еще прибавить поддержание жизни и прибыли самого предпринимателя, но, как бы то ни было, возрастание стоимости благодаря мануфактуре представляет потребление тех, кого она оплачивает. Для изготовления богатств необходимо пожертвовать благами: «ремесленник столько же растрчивает на поддержание жизни, сколько он производит своим трудом» <Maximes de gouvernement (цит. по: D a i r e. op. cit., p. 289).>. Если имеется монопольная цена, то рыночные цены могут значительно возрасти. Но это происходит не потому, что будто бы труд рабочих оплачивается лучше: конкуренция между ними удерживает их заработки на минимальном прожиточном уровне<T u r g o t. Reflexions sur la formation des richesses, <185> 6.>. Что же касается прибылей предпринимателей, то верно, что монопольные цены увеличивают их в той мере, в какой возрастает стоимость продуктов, вынесенных на рынок. Но это возрастание есть не что иное, как пропорциональное уменьшение меновой стоимости других товаров: «все эти предприниматели делают состояния только потому, что другие состояния тратятся»<Maximes de gouvernement, op. cit., ibid.>. Кажется, что промышленность увеличивает стоимости; действительно, она изымает из самого обмена цену поддержания жизни одного или многих. Стоимость образуется и возрастает благодаря не производству, а потреблению. Каким бы это потребление ни было, будь то потребление рабочего, обеспечивающего свое существование, {187} предпринимателя, извлекающего прибыли, или бездельника, делающего покупки: «рост продажной стоимости, обусловленный бедным классом, является результатом расходов рабочего, но не его труда, так как расходы праздного, неработающего человека приводят в этом отношении к тому же самому результату<M i r a b e a u. Philosophie rurale, p. 56.>. Стоимость возникает лишь там, где исчезли блага, причем труд функционирует как трата: он образует стоимость средств к существованию, которые он сам израсходовал. Это верно и по отношению к самому сельскохозяйственному труду. Положение работника, который пашет, не отличается от положения ткача или транспортного рабочего; он лишь «одно из орудий труда или обработки» <Id., ibid., p. 8.> - орудие, нуждающееся в средствах к существованию и изымающее их из продуктов земли. Как и во всех других случаях, оплата земледельческого труда имеет тенденцию в точности соответствовать этим средствам к существованию. Тем не менее имеется одна привилегия, но не экономическая, касающаяся системы обменов, а физическая, касающаяся производства благ: именно земля, когда она обрабатывается, доставляет какое-то количество средств к

существованию, возможно намного превосходящее то, которое необходимо работнику. Как оплаченный труд, труд земледельца является в той же мере негативным и дорогостоящим, что и труд рабочих мануфактуры, но в качестве «физического обмена» с природой <D u r o n t d e N e m o u r s. Journal agricole, mai, 1766.> он вызывает у нее безграничное плодородие. И если верно, что это изобильное плодородие оплачено заблаговременно ценой труда, семян, корма для животных, то хорошо известно, что впоследствии найдут колос там, где посеяли одно зерно; и стада «тучнеют каждый день даже во время их отдыха, чего нельзя сказать о рулоне шелка или шерсти, находящегося в магазине» <M i g a b e a u. Philosophie rurale, p. 37.>. Земледелие - это единственная область, в которой возрастание стоимости благодаря производству неэквивалентно расходам по содержанию производителя. Это обусловлено тем, что здесь, по правде говоря, имеется незримый производитель, не нуждающийся ни в какой оплате. Именно с ним земледелец сам, не ведая того, находится в связи; и в то время как работник столько же потребляет, сколько и производит, этот же самый труд благодаря достоинству его Сотворца производит все блага, из которых будет оплачиваться образование стоимостей: «земледелие - это мануфактура божественного происхождения, в которой производитель имеет в качестве компаньона Творца природы, самого Производителя всех благ и всех богатств» <Id., ibid., p. 33.>.

Понятно то теоретическое и практическое значение, которое придавалось физиократами земельной ренте, а не земледельческому труду. Ибо именно этот труд оплачивается потреблением, в то время как земельная рента представляет, или должна представлять, избыточный продукт: количество благ, доставляемое природой, превышает количество средств к существованию, которые она сама требует для непрерывного производства. Именно эта рента позволяет превращать блага в стоимости или в богатства. Она доставляет то, чем оплачиваются все другие работы и все потребления, которые ему соответствуют. Отсюда вытекают две основные заботы: дать в ее распоряжение значительное количество денег для того, чтобы она могла питать труд, торговлю, промышленность; наблюдать за тем, чтобы часть прибыли, которая должна вернуться к земле, позволив ей производить в дальнейшем, надежно сохранялась. Следовательно, экономическая и политическая программа физиократов со всей необходимостью предполагала рост сельскохозяйственных цен, но не заработков тех, кто обрабатывает землю; изымание всех налогов из самой земельной ренты; отмену монопольных цен и всех торговых привилегий (с тем, чтобы промышленность и торговля, контролируемые конкуренцией, строго поддерживали справедливую цену); значительное возвращение денег в земледелие для необходимого авансирования будущих урожаев. Вся система

обменов, все дорогостоящее образование стоимостей соотносится с этим неэквивалентным, радикальным и примитивным обменом, устанавливающимся между затратами собственника и щедростью природы. Только этот обмен является абсолютно прибыльным, и именно за счет этой чистой прибыли могут быть оплачены издержки, необходимые для каждого элемента богатства. Было бы неправильно говорить, что природа спонтанно производит стоимости; но она является неиссякаемым источником благ, превращаемых обменом в стоимости не без расходов и не без потребления. Кенэ и его ученики анализируют богатства, исходя из того, что отдается в обмене, то есть из того излишка, который существует без всякой стоимости, но становится стоимостью, входя в круг замещений, где он должен оплачивать каждое из своих перемещений, каждое из своих превращений заработками, продуктами питания и средствами к существованию, короче говоря, частью этого излишка. Физиократы начинают свой анализ с самой вещи, обозначаемой в стоимости, но предшествующей системе богатств. Так поступают и грамматисты, когда они анализируют слова, исходя из корня, из непосредственного отношения, соединяющего звук и вещь, и из последовательных абстракций, посредством которых этот корень становится именем в языке.

6. ПОЛЕЗНОСТЬ

Анализ Кондильяка, Галиани, Гралена, Дестю де Граси соответствует грамматической теории предложения. В качестве отправной точки он выбирает не то, что отдано, но то, что получено в обмене: та же самая вещь, по правде говоря, но рассматриваемая с точки зрения того, кто в ней нуждается, кто ее просит и кто согласен отказаться от того, чем он обладает, чтобы получить эту другую вещь, оцениваемую им как более полезную и с которой он связывает большую стоимость. Физиократы и их противники движутся фактически в рамках одного теоретического {189} сегмента, но в противоположных направлениях; одни спрашивают, при каком условии и какой ценой благо может стать стоимостью в системе обменов, а другие - при каком условии суждение, связанное с оценкой, может превратиться в цену в той же самой системе обменов. Поэтому понятно, почему анализы физиократов зачастую так близки к исследованиям утилитаристов, иногда дополняя их; почему Кантильон понадобился одним из-за его теории тройного поземельного дохода и того значения, которое он придает земле, а другим - из-за его анализа оборотов и той роли, которую он приписывает деньгам<C a n t i l l o n. Essai sur le commerce en general, p. 68 -69, 73.>; почему Тюрго смог

быть верным принципам физиократии в работе «Образование и распределение богатств» и был очень близок к Галиани в работе «Стоимость и деньги».

Предположим самую примитивную ситуацию обмена: одному человеку - у него есть только кукуруза или зерно, противостоит другой - у него есть только вино или дрова. Еще нет никакой установленной цены, никакой эквивалентности, никакой общей меры. Тем не менее если эти люди заготовили эти дрова, посеяли и собрали кукурузу или хлеб, то они считали, что этот хлеб или эти дрова могли бы удовлетворить одну из их нужд - были бы полезными: «Сказать, что вещь представляет ценность, значит сказать, что она является таковой или что мы считаем ее годной для какого-то употребления. Стоимость вещей основывается, таким образом, на их полезности или, что то же самое, на употреблении, которое мы можем им дать» <C o n d i l l a c. Le Commerce et le gouvernement (CEuvres, t. IV, p. 10).>. Это суждение образует то, что Тюрго называет «оценочной стоимостью» вещей<T u r f o t. Valeur et monnaie (CEuvres complètes, ed. Schelle, t. III, p. 91 -92).>, стоимостью, являющейся абсолютной, так как она касается каждого продукта в отдельности вне его сравнения с другими; тем не менее она является и относительной и изменчивой, изменяясь вместе с аппетитом, желаниями и потребностью людей. Между тем совершаемый на основе этих первичных полезностей обмен не есть их простое сведение к общему знаменателю. Он в самом себе есть создатель полезности, поскольку он предоставляет для оценки одного то, что до этого времени представляло для другого лишь немного полезности. Тут возникают три возможности. Во-первых, «излишек каждого», как говорит Кондильяк<C o n d i l l a c. Loc. cit., p. 28.>, - то, что он не использовал или не рассчитывает немедленно использовать, - качественно и количественно соответствует потребностям другого: весь излишек владельца зерна в ситуации обмена оказывается полезным для владельца вина, и наоборот. Начиная с этого момента то, что было бесполезным, становится полностью полезным благодаря созданию одновременно существующих и равных стоимостей с каждой стороны; то, что в оценке одного было ничем, становится чем-то положительным в оценке другого, а так как ситуация является симметричной, то созданные таким образом оценочные стоимости {190} автоматически оказываются эквивалентными; полезность и цена полностью соответствуют друг другу; причем такое определение цены вполне совпадает с оценкой. Во-вторых, излишек одного недостаточен для нужд другого, который будет воздерживаться от полной отдачи того, чем он обладает. Он будет сохранять часть своего продукта с тем, чтобы получить необходимое для его потребности дополнение у третьего лица. Эта изъятая из данного обмена часть, которую партнер стремится насколько возможно уменьшить, так как он нуждается во всем излишке первого, обуславливает

цену: больше не обменивают излишек хлеба на излишек вина, но в результате пререканий дают столько-то мюидов<Старинная мера емкости: один мюид составляет 268 литров. - Прим. ред.> вина за столько-то сетье<Старинная мера жидкостей и сыпучих тел, равная 0,466 литра. - Прим. ред.> зерна. Можно ли сказать, что тот, кто дает больше, теряет при обмене на стоимости продукта, которым он обладал? Нет, так как этот излишек для него лишен полезности или, во всяком случае, поскольку он согласился его обменять, он приписывает большую стоимость тому, что он получает, чем тому, что он отдает. Наконец, третья гипотеза предполагает, что ничто ни для кого не является абсолютно излишним, так как каждый из двух партнеров знает, что он может, рассчитывая на более или менее долгий срок, использовать полностью все то, чем он обладает: состояние потребности является всеобщим, и каждая часть собственности становится богатством. Поэтому оба партнера могут прекрасно обходиться без обмена; но каждый может в равной мере считать, что часть товара другого была бы ему более полезной, чем часть его собственного товара. Один и другой устанавливают - причем каждый для себя, следовательно, согласно особому расчету - минимальное неравенство: столько-то мер кукурузы, которой у меня нет, говорит один, будут стоить для меня немного больше, чем столько-то мер моих дров. Такое-то количество дров, говорит другой, для меня будет стоить дороже, чем столько-то кукурузы. Эти два оценочных неравенства определяют для каждого относительную стоимость, которую он придает тому, чем он обладает, и тому, чего он не имеет. Для согласования этих двух неравенств нет другого средства, кроме установления между ними равенства двух отношений: обмен свершится, когда отношение кукурузы к дровам для одного станет равным отношению дров к кукурузе для другого. В то время как оценочная стоимость определяется одной игрой потребности и объекта - следовательно, - в оценивающей стоимости, как она теперь появляется, «имеются два человека, которые сравнивают, и имеются четыре сравниваемых интереса; но два частных интереса каждого из двух договаривающихся партнеров прежде сравнивались между собой особо, и именно результаты, которые затем сравнивались вместе, образуют среднюю оценочную стоимость. Это равенство отношения позволяет, например, сказать, что четыре меры кукурузы и пять вязанок дров имеют равную обменную стоимость»*T u g o t. Valeur et monnaie (Œuvres, t. III, p. 91 -93).*>.

Однако это равенство не означает, что полезности обмениваются равными частями. Обмениваются неравенства, это значит, что две стороны - хотя каждый элемент сделки обладал действительно полезностью - получают больше стоимости, чем имели ее раньше. Вместо двух непосредственных полезностей обладают двумя другими, предназначенными удовлетворять потребности еще более обширные. Такого рода анализы обнаруживают

пересечение стоимости и обмена: обмена не происходило бы, если бы не существовало непосредственных стоимостей, то есть если бы в вещах не существовало «атрибута, являющегося для них случайным и зависящего единственно от потребностей человека, как действие зависит от своей причины» <G r a s l i n. Essai anakytique sur la richesse, p. 33.>. Но обмен в свою очередь создает стоимость, причем двумя способами. С одной стороны, он делает полезными вещи, которые без него обладали бы слабой полезностью или были бы лишены ее вовсе: что может стоить для голодных или раздетых людей бриллиант? Но достаточно, чтобы в мире существовала одна женщина, желающая нравиться, и торговля, способная доставить этот бриллиант в ее руки, чтобы камень стал «для его владельца, не нуждающегося в нем, косвенным богатством... Стоимость этого объекта оказывается для него меновой стоимостью» <Id., ibid., p. 45.>; и он может доставлять себе пропитание, продавая то, что служит лишь для блеска: отсюда значение роскоши <H u m e. De la circulation monetaire (CEuvres economique, p. 41).>; отсюда тот факт, что с точки зрения богатств нет различия между потребностью, удобством и украшением <Грален под потребностью понимает «необходимость, полезность, вкус и украшения» (Essai analytique sur la richesse, p. 24).>. С другой стороны, обмен порождает новый тип стоимости, которая является «оценивающей»: между полезностями обмен организует взаимное отношение, которое дублирует отношение к простой потребности и прежде всего его изменяет: дело в том, что в плане оценки, следовательно, в плане сравнения каждой стоимости со всеми малейшее создание новой полезности уменьшает относительную стоимость уже имеющихся полезностей. Совокупность богатств не увеличивается, несмотря на появление новых объектов, способных удовлетворять потребности; любое производство порождает лишь «новый порядок стоимостей относительно массы богатств; при этом первые объекты потребности уменьшились бы в стоимости для того, чтобы дать место в массе богатств новой стоимости объектов удобства или украшения» <G r a s l i n. Op., cit., p. 36.>. Следовательно, обмен - это то, что увеличивает стоимости (порождая новые полезности, которые, по крайней мере косвенно, удовлетворяют потребности); но обмен - это также то, что уменьшает стоимости (одни по отношению к другим в оценке, которую дают каждой). Посредством обмена бесполезное становится полезным и - в той же самой пропорции - более полезное становится менее полезным. Такова конститутивная роль обмена в игре стоимости: он дает цену любой вещи и уменьшает цену каждой.

Мы видим, что теоретические основы у физиократов те же, что и у их противников. Совокупность их основных положений является общей для них: любое богатство рождается землей; стоимость вещей связана с обменом; деньги значимы в качестве

представления обращающихся богатств; причем обращение должно быть по возможности простым и полным. Однако эти теоретические положения у физиократов и у «утилитаристов» располагаются в противоположном порядке, благодаря чему то, что для одних играет положительную роль, становится отрицательным для других. Кондильяк, Галиани, Грален исходят из обмена полезностей как из субъективного и позитивного основания всех стоимостей; все, что удовлетворяет потребность, имеет, следовательно, стоимость, и любое превращение или любая передача, позволяющая удовлетворить более многочисленные потребности, полагает возрастание стоимости: именно это возрастание позволяет оплачивать рабочих, давая им, изъятый из этого прироста, эквивалент их средств к существованию. Но все эти положительные элементы, конституирующие стоимость, опираются на определенное состояние потребности у людей, следовательно, на конечный характер плодородия природы. Для физиократов же тот же ряд должен быть пройден в обратном направлении: всякое превращение и любой труд на земле оплачиваются средствами к существованию работника; следовательно, они сказываются на уменьшении общей суммы благ; стоимость рождается лишь там, где имеется потребление. Таким образом, для появления стоимости необходимо, чтобы природа была наделена безграничным плодородием. Все то, что воспринимается позитивно и как бы выпукло в одной интерпретации, воспринимается негативно и затеняется в другой. «Утилитаристы» основывают на сочленение обменов приписывание вещам определенной стоимости, в то время как физиократы посредством существования богатств объясняют последовательное разъединение стоимостей. Но у одних и у других теория стоимости, как и теория структуры в естественной истории, связывает момент, который приписывает, с моментом, который сочленяет.

Возможно, проще было бы сказать, что физиократы представляли земельных собственников, а «утилитаристы» - коммерсантов и предпринимателей, что, следовательно, они верили в возрастание стоимости в то время, когда естественные продукты превращались или перемещались; что они были в силу вещей заняты экономикой рынка, где законом были потребности и желания. Напротив, физиократы верили всецело лишь в земледелие и требовали для него самых больших затрат; будучи собственниками, они приписывали земельной ренте естественное основание, и, требуя политической власти, они желали быть единственными налогоплательщиками, следовательно, носителями соответствующих прав. И несомненно, через сцепление интересов можно было бы выявить существенные различия в экономических воззрениях тех и других. Но если принадлежность к социальной группе всегда может объяснить тем, что такой-то или такой выбрал бы скорее одну систему мышления, чем другую, то

условие мыслимости этой системы никогда не основывается на существовании этой группы. Нужно тщательно различать две формы и два уровня исследований. Одно исследование было бы анализом мнений, позволяющим узнать, кто же в XVIII веке был физиократом и кто был антифизиократом; чьи интересы отражала эта полемика; каковы были спорные вопросы и аргументы; как разворачивалась борьба за власть. Другое исследование, не принимающее во внимание ни конкретных деятелей, ни их историю, состоит в определении условий, исходя из которых стало возможным мыслить в связных и синхронных формах «физиократическую» и «утилитаристскую» системы знания. Первое исследование относилось бы к области доксологии. Археология же признает и приемлет только второе.

7. ОБЩАЯ ТАБЛИЦА

Общая организация эмпирических подразделений может быть теперь изображена в своей совокупности <См. схему на стр. 287.>. Прежде всего следует отметить, что анализ богатств подчиняется той же самой конфигурации, что и естественная история и всеобщая грамматика. Действительно, теория стоимости позволяет объяснить (либо нуждой и потребностью, либо неисчерпаемостью природы), как некоторые объекты могут быть введены в систему обменов, как благодаря примитивному процессу одна вещь может быть отдана как равноценная за другую; как оценка первой вещи может быть соотнесена с оценкой второй согласно отношению равенства (А и В обладают одной и той же стоимостью) или аналогии (стоимость А, которой обладает мой партнер, для моей потребности представляет то же самое, что для него - стоимость В, которой я обладаю). Таким образом, стоимость соответствует атрибутивной функции, которая во всеобщей грамматике обеспечивается глаголом и, конституируя предложение, полагает тот первичный порог, начиная с которого возникает язык. Но когда оценивающая стоимость становится стоимостью оценочной, то есть когда она определяется и ограничивается пределами системы, составленной всеми возможными обменами, тогда каждая стоимость полагается и расчленяется всеми другими: начиная с этого момента стоимость обеспечивает функцию сочленения, которую всеобщая грамматика признавала за всеми неглагольными элементами предложения (то есть за именами существительными и за каждым из слов, которое явно или скрыто обладает именной функцией). В системе обменов, в игре, позволяющей каждой части богатства означать другие или быть означаемой ими, стоимость является одновременно и глаголом и именем существительным, возможностью связывать и принципом анализа, сочленением и

расчленением. Стоимость в анализе богатств занимает, таким образом, в точности то же самое положение, которое в естественной истории занимает структура; как и структура, она в одной и той же операции связывает функцию, позволяющую приписывать знак другому знаку, одно представление другому, и функцию, позволяющую сочленять элементы, составляющие совокупность представлений или знаков; которые их расчленяют.

Со своей стороны, теория денег и торговли объясняет, каким образом любой материал может наделяться функцией означения, соотносясь с любым данным объектом и являясь для него постоянным знаком; она объясняет также (путем функционирования торговли, роста и уменьшения денежной массы), как это отношение знака к означаемому может изменяться, никогда не исчезая, как один и тот же денежный элемент может означать больше или меньше богатств, как он может скользить, распространяться, суживаться по отношению к стоимостям, которые он обязан представлять. Следовательно, теория денежной цены соответствует тому, что во всеобщей грамматике выступает в форме анализа корней и языка действия (функция обозначения), и тому, что выступает в форме тропов и смещений смысла (функция деривации). Деньги, как и слова, наделены функцией обозначать, но они не прекращают колебаться вокруг этой вертикальной оси: колебания цен так относятся к первоначальному установлению отношения между металлом и богатствами, как риторические смещения относятся к первому значению словесных знаков. Более того, полагая, на основе своих собственных возможностей, обозначение богатств, установление цен, изменение номинальных стоимостей, обеднение и обогащение наций, деньги функционируют по отношению к богатствам так, как признак по отношению к природным существам; они позволяют сразу же придать им особую метку и указать им место, несомненно временное, в пространстве, в настоящее время определяемом ансамблем вещей и знаков, которыми располагают. Теория денег и цен занимает в анализе богатств то же самое место, что теория признака занимает в естественной истории: как и эта последняя, она в одной и той же функции связывает возможность давать вещам знак, представляя одну вещь через другую, и возможность отклонения знака от того, что он обозначает.

Четыре функции, определяющие специфические свойства словесного знака и отличающие его от всех других знаков, которые представление может полагать, повторяются, таким образом, в теоретической системе естественной истории и в практическом использовании денежных знаков. Порядок богатств, порядок природных существ раскрываются по мере того, как среди объектов потребности, среди видимых особей устанавливают системы знаков, позволяющих одни представления обозначать

через другие, полагающих возможность деривации означающих представлений по отношению к означаемым, расчленения того, что представлено, приписывания определенных представлений другим. В этом смысле можно сказать, что для классического мышления системы естественной истории и теории денег или торговли обладают теми же самыми условиями возможности, что и сам язык. Это означает две вещи: во-первых, что порядок в природе и порядок в богатствах в рамках классического опыта наделен тем же самым способом бытия, что и порядок представлений, как он обнаруживается посредством слов; во-вторых, что слова образуют достаточно привилегированную систему знаков, когда дело идет о выявлении порядка вещей, для того, чтобы естественная история, если она хорошо организована, и деньги, если они хорошо упорядочены, функционировали наподобие языка. Алгебра является тем же для математизации, чем знаки, и в особенности слова, - для таксономии: установлением и выявлением порядка вещей.

Тем не менее имеется существенное различие, препятствующее классификации быть спонтанным языком природы, а ценам - естественной речью богатств. Или, скорее, существуют два различия, одно из которых позволяет область словесных знаков отличить от областей богатств или природных существ, а другое позволяет отличить теорию естественной истории от теории стоимости и цен.

Четыре момента, определяющие основные функции языка (определение, сочленение, обозначение, деривация), тесно связаны между собой, поскольку они предполагают друг друга, начиная с того момента, когда вместе с глаголом преодолевают порог существования знака. Однако в действительном происхождении языков движение различается как по направлению, так и по точности: начиная с исходных обозначений воображение людей (сообразно странам, в которых они живут, условиям их существования, их чувствам и страстям, их практической жизни) вызывает деривации, изменяющиеся вместе с народами и объясняющие, несомненно, помимо разнообразия языков, относительную неустойчивость каждого. В определенный момент этой деривации и внутри отдельного языка люди имеют в своем распоряжении совокупность слов, имен существительных, сочленяющихся одни с другими и расчленяющих их представления; но этот анализ настолько несовершенен, он допускает столько неточностей и столько накладок, что по отношению к одним и тем же представлениям люди используют различные слова и образуют различные предложения: их рефлексия не является безошибочной. Между обозначением и деривацией множатся сдвиги воображения; между сочленением и атрибутивностью распространяется ошибка рефлексии. Поэтому на горизонт языка, может быть бесконечно удаленный, проецируется идея универсального

языка, в котором значение слов в выражении представлений было бы достаточно четко фиксировано, достаточно хорошо обосновано, с достаточной очевидностью признано для того, чтобы рефлексия могла бы со всей ясностью убедиться в истинности любого предложения, - благодаря такому языку «крестьяне могли бы лучше судить об истине вещей, чем теперь это могут философы» <D e s c a r t e s. Lettre a Mersenne, 20 nov. 1629 (A. T. I., p. 76).>; совершенно отчетливый язык дал бы возможность вполне ясной речи: этот язык был бы в себе самом *Ars combinatoria*. В равной мере поэтому применение любого реального языка должно дублироваться Энциклопедией, определяющей движение слов, предписывающей законные сдвиги знания, кодифицирующей отношение соседства и сходства. Как Словарь создан для того, чтобы, исходя из первичного обозначения слов, контролировать игру дериваций, так и универсальный язык создан для того, чтобы, исходя из хорошо установленного сочленения, контролировать ошибки рефлексии, когда она формулирует суждение. *Ars combinatoria* и Энциклопедия с разных сторон отвечают на несовершенство реальных языков. Естественная история, раз уж она является наукой, обращение богатств, раз уж оно учреждено людьми и контролируется ими, должны избежать этих опасностей, присущих спонтанно возникшим языкам. В плане естественной истории нет возможности для ошибки в зазоре между сочленением и атрибутивностью, так как структура раскрывается в непосредственно данной зримости; нет также нереальных сдвигов, ложных сходств, неуместных соседств, которые размещали бы природное существо, правильно обозначенное, в пространстве, которое не было бы его собственным, так как признак устанавливается или связностью системы или же точностью метода. Структура и признак в естественной истории обеспечивают теоретическую замкнутость того, что в языке остается открытым и порождает на его границах искусственные проекты, по существу незавершенные. Также оценочная стоимость автоматически становится оценивающей, а деньги, которые благодаря своему возрастающему или убывающему количеству вызывают, но всегда ограничивают колебание цен, гарантируют в плане богатств совмещение определения и сочленения, атрибутивности и деривации. Стоимость и цены обеспечивают практическую замкнутость сегментов, которые остаются открытыми в языке. Структура позволяет естественной истории незамедлительно оказаться в стихии комбинаторики, а признак позволяет ей установить по отношению к существам и их сходствам точную и определенную поэтику. Стоимость соединяет одни богатства с другими, а деньги позволяют осуществить их реальный обмен. Там, где расстроенный порядок языка предполагает непрерывное отношение с искусством и с его бесконечными задачами, там порядок природы и порядок

богатств раскрываются в чистом и простом существовании структуры и признака, стоимости и денег.

Тем не менее нужно заметить, что естественный порядок формулируется в теории, которая представляет ценность как верная интерпретация одного ряда или одной реальной картины: к тому же структура существ является одновременно непосредственной формой видимого и его расчленением; также и признак обозначает и локализует одно и то же движение. Напротив, оценочная стоимость становится оценивающей лишь благодаря превращению; и начальное отношение между металлом и товаром становится лишь постепенно ценой, подверженной изменениям. В первом случае речь идет о точном совпадении атрибутивности и сочленения, обозначения и деривации, а в другом случае - о переходе, связанном с природой вещей и с деятельностью людей. Вместе с языком система знаков принимается пассивно в своем несовершенстве, и одно искусство может ее улучшить: теория языка является непосредственно предписывающей теорией. Естественная история сама устанавливает для обозначения существ систему знаков, и поэтому она является теорией. Богатства - это знаки, произведенные, приумноженные и измененные людьми; теория богатств тесно связана с политикой.

Однако две прочие стороны основополагающего четырехугольника остаются открытыми. Как могло случиться, что обозначение (единичный и точный акт) делает возможным расчленение природы, богатств, представлений? Как, вообще говоря, могло случиться, что два противоположных сегмента (суждение и обозначение для языка, структура и признак для естественной истории, стоимость и цены для теории богатств) соотносятся друг с другом, делая возможным, таким образом, язык, систему природы и непрерывное движение богатств? Для этого совершенно необходимо предположить, что представления сходны между собой и одни вызывают другие в воображении, что природные существа находятся в отношении соседства и подобия, что потребности людей взаимосвязаны и находят свое удовлетворение. Сцепление представлений, непрерывная череда существ, плодородие природы всегда необходимы для того, чтобы имелись язык, естественная история, а также богатства и их практическое движение. Континуум представления и бытия, онтология, негативно определенная как отсутствие небытия, всеобщая представимость бытия, обнаруживающееся в присутствии представления бытие - все это входит в полную конфигурацию классической эпистемы. Мы сможем распознать в этом принципе непрерывности метафизически значительный момент в мышлении XVII и XVIII веков (позволяющий форме предложения иметь эффективный смысл, структуре - упорядочиваться в признак, стоимости вещей - исчисляться в цене); в то же время отношения между сочленением и атрибутивностью, обозначением и деривацией

(обосновывающие, с одной стороны, сужение и смысл, с другой - структуру и признак, стоимость и цены) определяют в этом мышлении в научном отношении значительный момент (то, что делает возможным грамматику, естественную историю, науку о богатстве). Так, упорядочивание сферы эмпирического оказывается связанным с онтологией, характеризующей классическое мышление; действительно, оно разворачивается непосредственно внутри онтологии, ставшей прозрачной благодаря тому, что бытие дано без разрывов представлению, и внутри представления, озаренного тем, что оно высвобождает непрерывность бытия.

Что касается перелома, свершившегося к концу XVIII века во всей западной эпистеме, то уже сейчас возможно охарактеризовать его в общих чертах, сказав, что значимый в научном отношении момент полагается там, где классическая эпистема помещала метафизически значимый момент; зато пространство философии возникло там, где классицизм установил свои наиболее прочные эпистемологические преграды. Действительно, анализ производства в качестве нового проекта новой «политической экономии», по существу, предназначен анализировать отношение между стоимостью и ценами; понятия организмов и организации, методы сравнительной анатомии, короче говоря, все темы рождающейся «биологии» объясняют, как наблюдаемые структуры особей могут представлять ценность в качестве общих признаков для родов, семейств, типов, {198} наконец, для того, чтобы унифицировать формальную структуру языка (его способность образовывать предложения) и смысл, принадлежащий его словам, «филология» будет изучать не функции дискурсии в связи с представлениями, но совокупность морфологических констант, подчиненных истории. Филология, биология и политическая экономия образуются не на месте Всеобщей грамматики, Естественной истории и Анализа богатств, а там, где эти знания не существовали, в том пространстве, которое они оставляли нетронутыми, в глубине той впадины, которая разделяла их основные теоретические сегменты и которую заполнял гул онтологической непрерывности. Объект знания в XIX веке формируется там же, где только что умолкла классическая полнота бытия. Напротив, новое пространство для философии будет освобождаться там, где распадаются объекты классического знания. Момент атрибутивности (в качестве формы суждения) и момент расчленения (в качестве общего расчленения существ) разделяются, порождая проблему отношений между формальной апофантикой и формальной онтологией; момент исходного обозначения и момент деривации в ходе времени разделяются, открывая пространство, в котором встает вопрос об отношениях между изначальным смыслом и историей. Таким образом, устанавливаются две основные формы современной философской рефлексии. Одна из них

исследует отношение между логикой и онтологией, развертываясь на путях формализации и сталкиваясь под новым углом зрения с проблемой метезиса. Другая же исследует связи обозначения и времени; она занимается дешифровкой, которая не завершена, и развертывает темы и методы интерпретации. Несомненно, что наиболее фундаментальный вопрос, который мог бы в таком случае возникнуть перед философией, касается отношения между этими двумя формами рефлексии. Конечно, не дело археологии говорить о том, возможно ли это отношение и как оно может быть обосновано, но она может очертить район, где оно стремится возникнуть, в каком месте эпистемы современная философия пытается обрести свое единство, в каком пункте знания она открывает свою наиболее широкую область: это то место, в котором формальное (апофантики и онтологии) соединится со значащим, как оно освещается в интерпретации. Основная проблема классического мышления касалась отношений между именем и порядком: открыть номенклатуру, которая была бы таксономией, или же установить систему знаков, которая была бы прозрачной для непрерывности бытия. То, что современное мышление, по существу, обсуждает, - это соотношение смысла с формой истины и формой бытия: на небе нашей рефлексии царит дискурсия - дискурсия, может быть, недостижимая, которая была бы сразу и онтологией, и семантикой. Структурализм не является новым методом; это бодрствующая, тревожная совесть современного знания.

8. ЖЕЛАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

9.

Люди XVII и XVIII веков думают о богатстве, природе или языках, не используя наследие, оставленное им предыдущими эпохами, и не в направлении того, что вскоре будет открыто; они осмысливают их, исходя из общей структуры, которая предписывает им не только понятия и методы, но на более глубоком уровне определяет способ бытия языка, природных особей, объектов потребности и желания; этот способ бытия есть способ бытия представления. Отсюда возникает та общая почва, где история наук выступает как какое-то поверхностное явление. Это не означает, что отныне ее можно оставить в стороне; но это означает, что рефлексия историчности знания не может больше довольствоваться прослеживанием движения познаний сквозь временную последовательность; действительно, они не представляют собой проявлений наследования или традиции; мы ничего не говорим о том, что их сделало возможными, высказывая то, что было известно до них, и то, что, как говорится, они «внесли нового». История знания может быть построена, исходя из того, что было современным для него, и, конечно, не в понятиях взаимного влияния, а в понятиях условий и полагаемых во времени априори.

Именно в этом смысле археология может засвидетельствовать существование всеобщей грамматики, естественной истории и анализа богатств и расчистить, таким образом, пространство без разрывов, в котором история наук, история идей и мнений смогут, если они того хотят, развиваться.

Если анализы представления, языка, природных порядков и богатств являются вполне связными и однородными по отношению друг к другу, то все же существует и глубокая неустойчивость всей системы. Дело в том, что представление определяет способ бытия языка, особой, природы и самой потребности. Таким образом, анализ представления имеет определяющее значение для всех эмпирических областей. Вся классическая система порядка, вся эта грандиозная таксономия, позволяющая познать вещи благодаря системе их тождеств, развертывается в открытом внутри себя пространстве посредством представления, когда оно представляет само себя: бытие и тождество находят здесь свое место. Язык есть не что иное, как представление слов, природа - представление существ, а потребность - представление потребности. Конец классического мышления - и этой эпистемы, сделавшей возможными всеобщую грамматику, естественную историю и науку о богатствах, - совпадает с устранением представления или же, скорее, с освобождением, в отношении представления, языка, живой природы и потребности. Непросвещенный, но упорный ум народа, который говорит, необузданность жизни и ее неутомимый напор, глухая сила потребностей ускользнут от способа бытия представления. Представление станет удвоенным, ограниченным, может быть, мистифицированным, во всяком случае управляемым извне благодаря грандиозному порыву свободы, или желания, или воли, которые предстанут как метафизическая изнанка сознания. В современной практике возникает нечто вроде воли или силы, возможно, конституирующей ее, указывающей, во всяком случае, что классическая эпоха только что завершилась и вместе с ней окончилось царство дискурсии, в ее соотнесенности с представлениями, династия представления, означающего самого себя и высказывающего в последовательности своих слов спящий порядок вещей.

Маркиз де Сад - современник этого переворота. Точнее, его неиссякаемое творчество обнаруживает хрупкое равновесие между незаконным законом желания и тщательной упорядоченностью дискурсивного представления. Порядок дискурсии находит здесь свой Предел и свой Закон, хотя он все еще сохраняет силу сосуществовать с тем, что им управляет. Несомненно, в этом состоит принцип того «распутства», которое было последним словом западного мира (затем начинается эра сексуальности): распутник - это тот, кто, подчиняясь всем прихотям желания и всем его неистовствам, не только может, но и должен осветить его малейшее движение светом ясного и сознательно

используемого представления. У распутной жизни имеется строгий порядок: каждое представление должно сразу же одушевляться в живой плоти желания, а любое желание должно выражаться в чистом свете дискурсии-представления. Отсюда происходит строгая последовательность «сцен» (у Сада сцена - это упорядоченный беспорядок представления), причем внутри сцен имеется тщательно поддерживаемое равновесие между комбинаторикой тел и сцеплением причин. Возможно, что «Жюстина» и «Жюльетта» занимают то же ключевое место у колыбели современной культуры, которое занимает «Дон Кихот» между Возрождением и классицизмом. Герой Сервантеса, интерпретируя связи мира и языка так, как это делали в XVI веке, расшифровывая единственно лишь при помощи игры сходства трактиры как замки, а крестьянок как дам, замыкался, сам того не ведая, в модусе чистого представления; однако поскольку это представление имело в качестве закона лишь подобие, то оно не могло избежать своего появления в комической форме бреда. Но во второй части романа Дон Кихот извлек из этого представленного мира свою истину и свой закон; ему ничего другого не оставалось, как ожидать от этой книги, в которой он был рожден, которую он не читал, но за которой он должен был следовать, судьбы, отныне навязанной ему другими. Ему было достаточно жить в замке, где он сам, захваченный своим наваждением в мире чистого представления, стал в конце концов чистым и простым персонажем в инструментарии представления. Герои Сада перекликаются с ним с другого конца классической эпохи, то есть в момент ее упадка. Это не ироническое торжество представления над сходством, а темная навязчивая сила желания, разрывающая пределы представления. «Жюстина» где-то соответствует второй части «Дон Кихота»; она представляет собой постоянный объект желания, чистым источником которого она является, как Дон Кихот поневоле является объектом представления, которое и есть он сам в своей глубокой сути. В Жюстине желание и представление соединяются исключительно при посредстве Другого, представляющего себе героиню как объект желания, в то время как она сама знакома с желанием лишь слегка, в его отстраненной, внешней и застывшей форме представления. В этом ее несчастье: ее невинность пребывает всегда между желанием и представлением как посредник. Жюльетта представляет собой не что иное, как носительницу всевозможных желаний, но все эти желания без остатка воспроизводятся в представлении, которое разумно их обосновывает в дискурсии и сознательно превращает их в сцены. Так эпическое повествование о жизни Жюльетты, разворачивая историю желаний, насилий, зверств и смерти, создает мерцающую картину представления. Но эта картина столь тонка, столь прозрачна по отношению к любым фигурам желания, неустанно собирающимся в ней и приумножающимся единственно лишь силой их комбинаторики,

что она столь же безрассудна, сколь и картина, представляющая Дон Кихота, когда он, идя от подобия к подобию, верил, что движется по запутанным дорогам мира и книг, хотя лишь углублялся в лабиринт своих собственных представлений для того, чтобы в них открылись без малейшего изъяна, без всяких недомолвок, без какой бы то ни было завесы все возможности желания.

Поэтому это повествование замыкает классическую эпоху, в то время как «Дон Кихот» ее открывал. И если верно то, что в нем живет еще язык Руссо и Расина, если верно, что это - последний дискурс, предназначенный «представлять» то есть именовать, то хорошо известно, что он сводит этот ритуал к максимально лаконичному выражению (он называет вещи их точными именами, уничтожая тем самым все пространство риторики) и до бесконечности растягивает этот ритуал (называя все, не забывая ничтожнейшей из возможностей из возможностей, так как они все рассматриваются в соответствии с Универсальной характеристикой Желания). Сад достигает предела классической дискурсии и классического мышления. Его царство у их границ. Начиная с него, насилие, жизнь и смерть, желания и сексуальность развернут под покровом представления бесконечно темное пространство, которое мы теперь пытаемся в меру своих способностей включить в нашу речь, в нашу свободу, в наше мышление. Но наша мысль так коротка, наша свобода так покорна, а наша речь настолько набила оскомину, что нам необходимо учитывать, что, по сути дела, эта сокрытая тень необъятна. Успех «Жюльетты» - это во все большей степени успех у одиночек. И этому успеху не поставлен предел.